Георгий ЗАДОРОЖНИКОВ

МЕМУАРЫ СТАРОГО МАЛЬЧИКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор мемуаров – коренной Севастополец в четвертом поколении. В годы Великой Отечественной войны в отроческом возрасте находился в осажденном, а потом оккупированном городе. Перед его глазами прошла жизнь обычных горожан: гибель мирных жителей, голод и лишения, постоянный страх и опасность смерти для оставшихся в живых. Первая бомба войны упала на его улице Подгорной. Здесь же он встретил первых бойцов – освободителей Севастополя. Перед его глазами прошли первые годы восстановления из руин родного города.

- Георгий Задорожников
  - Резюме
  - Предисловие к первому изданию
  - Предисловие ко второму изданию
  - Предисловие к третьему изданию
    -
    - Седые мальчики войны
  - Глава I
    - 1. Улица Подгорная
    - 2. Читаю стихи
    - 3. Накануне
  - Глава II
    - 1. Первая бомба
    - 2. Паника
    - 3. Симферополь
    - 4. Начало осады
    - 5. Хлеб наш насущный
    - 6. Борьба за огонь
    - 7. Опять пещеры
    - 8. В осажденном городе
    - 9. Мои родные – защитники Севастополя
    - 10. Последняя эвакуация
    - 11. Последние дни
  - Глава III
    - 1. Немцы пришли
    - 2. Концлагерь
    - 3. Переселение
    - 4. Вода
    - 5. Рыбацкая артель
    - 6. Евреи
    - 7. Лёня

        - 8. Еда
        - 9. Печальная дорога
        - 10. Школа
        - 11. Наши игры
        - 12. Тачка
        - 13. Снег
        - 14. Медицина
        - 15. Троицин день
        - 16. Памятники
        - 17. Песенки войны.
        - 18. Надежда.
        - 19. Лиля
        - 20. Будни оккупации
        - 21. Опять Подгорная
        - 22. Наши пришли
        - 23. Как я Гитлера видел (шутка).
    - Глава IV
        - 1. Без крова
        - 2. Как строили дом
        - 3. Продолжаем стройку
        - 4. Новый, 1945 год
        - 5. Базар
        - 6. Загородная балка
        - 7. Как я был пионером
        - 8. Школа № 19
        - 9. Кинотеатр «луч»
        - 10. Легендарные были
        - 11. Фотоаппарат
        - 12. Как я защищал дом
    - Послесловие
    - Ещё одно послесловие
        -
        - Сны и явь. (Быль)
        - Поехали!
- notes
    - 1
    - 2
    - 3

Георгий Задорожников
Мемуары старого мальчика
(Севастополь 1941–1945 г.г.)

В июне 2012 г книге мемуаров Г.Задорожникова присвоена первая севастопольская Литературная премия им Л.Н.Толстого. Книга награждена бронзовой медалью на международном конкурсе «Лучшая книга 2013 года» в Берлине.

Резюме

Автор мемуаров – коренной Севастополец в четвертом поколении. В годы Великой Отечественной войны в отроческом возрасте находился в осажденном, а потом оккупированном городе. Перед его глазами прошла жизнь обычных горожан: гибель мирных жителей, голод и лишения, постоянный страх и

опасность смерти для оставшихся в живых. Первая бомба войны упала на его улице Подгорной. Здесь же он встретил первых бойцов – освободителей Севастополя. Перед его глазами прошли первые годы восстановления из руин родного города.

Предисловие к первому изданию

На протяжении моей долгой жизни, когда приходили воспоминания о виденном и пережитом во время войны, где-то далеко шевелилась хилая мысль о том, что неплохо бы об этом написать. Но тут, же появлялись возражения: дескать, куда ты, кому интересны частные наблюдения мальчика, только вступающего в отроческий возраст, ведь о войне уже все написано и даже больше. Да и писать-то, кроме научных статей, ты ничего не умеешь, да и лентяй ты изрядный. И это правда, из-за лени я никогда не написал ни одной дневниковой строчки. Общение с великим и могучим русским языком, только в пределах учебной программы, оказалось мне не по силам. Я был повержен им в разряд презренных троечников, и то, по милости учителей.

Шли годы, и пережитое осмысливалось при помощи накопленного житейского опыта и средств общесоветской образованщины. Увиденное, услышанное, вбитое навсегда в башку страхом и ужасом бытия военного времени оценивалось теперь иначе, домысливалось интуитивно, порой чуть окрашенное мистическими откровениями.

Можно было начинать писать. Я садился перед белым листом бумаги или открытым в Ворде документом, и начинались попытки создания первой фразы. Позванивали, колеблясь, тарелочки знака зодиака «Весы». Время перетекало в вечность. Истощалось терпение, угасал порыв, «… и начинания, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия» (В.Шекспир).

И уже распростертого ниц начинающего автора добивала, но и оправдывала безделье мысль, о том, что денег на издание, еще не написанного произведения, нет и не предвидится. Наступало защитное запредельное торможение, переходящее в летаргию, и проблема отодвигалась на неопределенное время. Такие уж мы, русские люди. И так бы продолжалось всегда. Но вдруг!

Моим временным пациентом оказался предприниматель Юрий Николаевич Танцюра. Светлый и контактный человек, он с интересом отнесся к моему случайному упоминанию о том, что я Севастополец в четвертом поколении, выжил в осаду и оккупацию города. Юрий Николаевич выразил мнение о том, что о жизни простых людей, остававшихся жить в осажденном, а потом оккупированном городе Севастополе, почти ничего не написано. Тема открыта, и рассказ очевидца событий того времени мог бы оказаться интересным. Предельно кратко он сказал, что готов оказать материальную поддержку в издании книжки

воспоминаний, если я соберусь её написать. Я получил благотворный импульс и начал работу.

Воспоминания мои лишены стройной временной последовательности, да это и легко понять, ведь прошло более 67 лет. Тем не менее, схожие по тематике события собраны в отдельные главы. Язык и стиль повествования, конечно же, далеко не профессионален, но, на мой взгляд, его наивность позволяет сохранить нечто от тех дальних времен, когда это воспринималось глазами ребёнка. В некоторых эпизодах может чувствоваться недосказанность, незавершенность, что обусловлено быстрой сменой событий в те давние годы, их непредсказуемостью даже на ближайшую минуту. Кроме того, многое стерлось из памяти или приобрело за давностью лет другой смысл и оценку. Также по этическим соображениям, подробности о некоторых событиях опущены. Имена и фамилии людей, которые здесь упоминаются – действительные, к сожалению, их уже нет никого в живых. Названия улиц, учреждений, мест и районов города употребляются те, что были до войны.

В процессе работы над моими воспоминаниями, у меня появилась уверенность в их необходимости по следующим причинам. Во-первых, о быте простых людей, живших несколько лет фактически на передовой линии фронта, а потом брошенных на произвол судьбы на оккупированной территории, написано мало. Они не совершали подвигов, а просто жили, чтобы выжить, но при этом не теряли совести и достоинства.

Во-вторых, среди этих людей были дорогие моему сердцу родственники, знакомые, жители улицы Подгорная, родного города. Всю мою жизнь они оставались для меня примером мужества, самоотверженности, небывалой доброты и честности, всегда готовые прийти на помощь. В память о тех, кого уже нет, с уважением и благодарностью к тем, кто ещё жив, пишу эти строки.

Предисловие ко второму изданию

Первое издание этой книги разошлось довольно быстро. Неожиданно для меня, книга вызвала интерес и положительную оценку читателей, особенно у лиц пожилого возраста и у коренных севастопольцев. Единственное и справедливое замечание касалось ошибок компьютерного набора и некоторых стилистических погрешностей. Кроме того, многие читатели высказывали пожелания продолжения повествования о событиях первого года после освобождения города, о начале его восстановления.

Действительно, книга не была подвергнута профессиональной коррекции. Во втором издании мы постарались устранить указанные недостатки. В некоторые главы мы внесли небольшие дополнения, оставив основной текст нетронутым. В главу «Оккупация» добавлены три новых подзаголовка и написана новая четвёртая глава «Последний год войны», состоящая из 10 подзаголовков.

Предисловие к третьему изданию

Неожиданно для меня книжка мемуаров имела положительный отклик читателей. Более того, ей была присуждена первая литературная премия им. Л.Н.Толстого Скромный тираж предыдущих изданий разошелся очень быстро. Теперь ко мне обращаются читатели с вопросом о возможности приобретения книги. В связи с этим Юрий Николаевич Танцюра ещё раз предложил свою любезную помощь спонсировать третье издание. Возникла возможность добавить в новую публикацию то, что вспомнилось, было додумано. Были учтены замечания читателей о некоторых неточностях по датам событий, наименовании и местоположению городских учреждений. Текст предыдущих мемуаров сохранён в прежней редакции, но в некоторые главы добавлены новые и уточнённые факты. Написаны семь новых главы.

По теме книги мемуаров были созданы два телерепортажа и даны два интервью Севастопольским газетам.

Правка орфографии и пунктуации текста второго издания профессиональным корректором солидной флотской газеты обошлась мне в копеечку. Но когда я стал перечитывать уже отпечатанную книгу, то пришел в изумление: «Да, была ли правка?» По мере моих скромных возможностей я исправил результаты работы нерадивой помощи. Пишу это отступление во извинение оставшихся погрешностей.

В день вручения мне литературной премии им. Л.Н.Толстого, севастопольский поэт НИКОЛАЙ ИЛЬЧЕНКО подарил мне стихи, посвященные «Мемуарам», которые тронули меня до слёз. Ещё раз выражаю ему здесь искреннее восхищённое и благодарственное письменное признание. Большое спасибо! Не могу не доставить себе удовольствия поместить эти стихи в начале моей повести.

Седые мальчики войны

Георгию Задорожникову

Скатилось солнце, словно мячик,
В тугую теплую волну.
Идёт вдоль моря старый мальчик,
Который видел ту войну;

Кому игрушкой были пули,
А жизнь в осаде, как вина.
Крадётся тенью на Примбуле
За севастопольцем война

И в снах, всё продолжают падать
Бойцы в морские буруны.
Вы, наша правда, наша память —
Седые мальчики войны.

В волнах ныряет лунный зайчик
И время – никого не ждёт.
Идёт вдоль моря старый мальчик,
Из той войны ещё идёт.

И пусть порой в груди одышка,
Глаза глядят сквозь пелену,
Он – севастопольский мальчишка.
Который помнит ту войну.

Стоят в почетном карауле
Все обелиски, всей страны,
Пока гуляют на Примбуле
Седые мальчики войны.

Николай Ильченко

Июнь 2012 г. Севастополь

Глава I
До войны

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах…

Л.Н.Толстой

1. Улица Подгорная

«До войны и после войны». Как органично, плотно и почти навсегда это определение времени вошло в лексику людей моего и старшего поколений. Каким бы трудным и порой страшным не был период времени перед войной, в годы войны воспоминания о нем были светлы и радужны. В памяти моей, вне временной последовательности, застряли отдельные события довоенного времени, начиная с 1938 года, стало быть, с пятилетнего возраста.

Я родился в Севастополе в 1933 году, в роддоме при горбольнице № 1. Тайно крещен в церкви «Всех Святых», на старом кладбище, где покоится прах моих предков. Я – Севастополец в четвертом поколении. Мой прадед Василий Макаров принимал участие в последней Турецкой компании, за что был пожалован крохотным участком земли на улице Подгорной. Там он построил маленький глиняный домик, где прошло мое предвоенное детство. Кстати, в семье бытовала легенда, правда, ни чем не подтвержденная, что мы, Макаровы, родственники известного адмирала Макарова.

Замечательна особенность расположения улицы Подгорная. Она действительно осела под горой, буквально притулилась к ней в виде неширокой террасы, между двумя улицами: верхней и нижней. Дома построены только на одной четной стороне. Противоположная сторона, низенькой стеной ограждает улицу от обрыва. За стеной открывается панорама города: Константиновский равелин, внутренний рейд, западный склон главного холма до здания «Панорамы».

Нежный бриз гуляет вдоль улицы (до войны я не помню нынешних сумасшедших ветров). Хозяйки вывешивают стираное белье на веревках, протянутых между деревянными столбами электролинии. Веревки подпираются длинными шестами, вздымая простыни, как штандарты, высоко над землей. Вода после стирки выливается прямо посреди улицы, иногда с мыльной водой сливают еще кое-что. Бывали недолгие миролюбивые скандальчики. Улица имеет специфический запах, родной и домашний, принадлежащий только ей одной. Когда шли дожди, этот букет обогащался тонким запахом влажной земли, а в сухую солнечную погоду разогретым камнем и близким морем.

Царил мещанский быт (в лучшем понимании этого слова, как производное от «мещанин» – житель города, имеющий свое место, т. е. дом), не такой «зверский», как у А.М.Горького, без пошлости, но с геранью на окнах, слониками и вышитыми подушечками на

диванчиках. Ну, и что? Нравы традиционно патриархальные, мирные, основанные на доверии и взаимной помощи. Вечерами на улицу, перед домом выносились скамеечки, стульчики, мещане усаживались по-соседски, чтобы вести разговоры не о чем или блаженно созерцать окружающий мир. Солнце здесь исчезало рано за горой, но продолжало освещать противоположный главный холм. Золотом и красной медью светили стекла домов. Сверкал крест на Владимирском соборе. Длинные синие тени изменяли архитектуру знакомых улиц. Солнце уходило к кромке моря, и картинка постоянно менялась. Обворожительные вечера. Прекрасный сказочный мир. Ныне и не верится, что жил я в Эдеме.

Семьи, населявшие улицу, были приблизительно одинакового достатка. Черная тарелка репродуктора была почти у всех, а вот приемников было всего два. Один из них у нас – первый советский приемник СИ-235. Какие прекрасные театрализованные детские сказки довелось мне услышать! Даже патефон был далеко не в каждом доме, а у меня был дедушкин граммофон, с большой цветастой трубой и приличным набором старых и новых пластинок. Когда меня оставляли дома одного, проигрывание пластинок постепенно стало моим основным занятием. Сначала я прослушивал детские пластинки, потом советские песни «Если завтра война», «Мы танки ведем», «На Хасане наломали им бока» и пр. и доходил от нечего делать до старых пластинок – выла о непонятном придворная певица Вяльцева, ревел о каком-то «Сатанатам» Шаляпин, вяло и тоскливо доносился Собинов.

Зато блестящий, яростно и громко шипящий примус был в каждой семье, а у некоторых к тому же еще и тихая, но вонючая керосиновая «конфорка», на боку которой зачем-то располагалось таинственное слюдяное окошко, через туманную даль которого пробивался рыжий свет. Примусы капризничали: то не хотели гореть, то взрывались, нанося телесные повреждения. Неустойчивые «конфорки» обморочно падали, проливая керосин и вызывая пожары.

Помню трагический случай в семье Ивановых. Они жили через два дома от нас. В семье были два мальчика: Толик, мой ровесник, и Владик – мальчик лет пяти. Глава семьи, по профессии повар, был страстный охотник. Как он хранил свои опасные припасы неведомо, но порох попал в руки Владика, и он сыпанул горсть в пламя керосинки, в этот раз заправленной бензином. Взрыв! Маленький мальчик превратился в факел. Полученные ожоги, как я теперь понимаю, были несовместимы с жизнью. Не понятно, почему мальчишку не отвезли в больницу. Через трое суток он умер дома. Хоронили его всей улицей. Отец-

охотник стал беспробудно пить. Семья эвакуировалась в первые дни войны.

Электроутюги – это потом, а пока громадные чугунные изделия с тлеющими углями в сердце. Чтоб пробудить такое, требовалось раскачивать эту тяжесть на вытянутой руке для поддува воздуха. Вечерами ставили самовары, и приятный дымок заполнял дворы. Ушли в небытие все эти вещи, вызывающие ностальгические воспоминания. Стала ли наша жизнь лучше без них? Интимная близость людей и вещей, родственная взаимозависимость их исчезли.

Несколько раз в месяц на улицу приходил человек по имени Агитатор. Агитаторы были всегда мужчины, полные, с залысинами и в сильных очках. Об их прибытии сообщалось заранее. Выбирался приличный двор. Готовили нечто в виде сцены, задник завешивали тетиным надкроватным ковром, выставлялись ряды разных стульев, ходили по дворам, созывая людей жнщины-активистки. Агитатору был положен стол с красной скатертью и графин с водой, а так как тогда уже вечерело, и было плохо видно, приносили зажженную керосиновую лампу-трехлинейку. До прихода Агитатора на сцене выпендривались и кривлялись дети. Мама провоцировала меня читать стихи, но, чувствуя разнузданность аудитории, потенциальное неприятие артиста, я сдерживался, а когда уже решался – появлялся Агитатор. Он долго читал вслух газету, потом также долго что-то говорил. Кажется, я засыпал у мамы на руках.

В день выборов разного ранга властей вся улица отправлялась на избирательный участок, располагавшийся в школе, по соседству. Там мне впервые удалось посмотреть театральный спектакль. Театр им. Луначарского ставил «Ревизора». Осталось сильное впечатление на всю жизнь. В труппе работал наш родственник Константин Москаленко, одновременно он был театральным фотографом. Был он красив, высок и строен, с волнистой густой шевелюрой. Голос поставлен на театральный манер, как и движения, которые иногда выглядели вычурно. Он был взят в театр из самодеятельности и долго перебивался на третьих ролях. В «Ревизоре» появлялся в конце в виде пристава, в брезентовом костюме пожарного: «Чиновник, прибывший из Петербурга, требует немедленно к себе!».

У него был, редкий по тем временам фотоаппарат «Лейка». Он щедро нас всех фотографировал и до сих пор остались сделанные им фотографии. Дядя Костя, Константин Иванович, по контрамаркам, проводил нас в настоящее здание театра. Там я смотрел спектакли «Таня» Арбузова и «Суворов». Мне сдается, что

театр вначале был деревянный, где-то в районе между окончанием набережной Корнилова и началом Приморского бульвара. В этом же районе находилась детская библиотека. Туда вечерами, со старшим двоюродным братом Валентином мы ходили менять книжки. Мне выдавали неинтересные, но как считалось, полезные книжки, но мне хотелось тех, с выставочной витрины, где на обложках мчались конницы, стояли в дозоре пограничники с собаками, летели самолеты, или ползли танки. Романтика гражданской войны еще была жива. Но мне непреклонно отказывали, говорили, что рано.

Часто во время наших походов в библиотеку мы натыкались на учебные занятия групп ОСОВИАХИМа. Дымили вонючие шашки, бегали люди в противогазах, белых комбинезонах и с носилками. Брат стращал меня тем, что нас сейчас же заберут в бомбоубежище. Мы убегали, прятались. Это была немного страшная и веселая игра. Что дали эти учения, когда внезапно нагрянула военная беда? Куда девались горластые, нахальные тётки в противоипритных комбинезонах? Задумывался ли кто-нибудь о том, что эти никому ни чем не обязанные гражданские лица разбегутся и превратятся в пар, эфир, ни во что при первом выстреле? Но не учит время бюрократов. Сколько драгоценного времени и материальных средств отняла пресловутая гражданская оборона (ГО), просуществовавшая до перестройки? Она порождала дутые планы, партийные и административные разборки, грандиозные пьянки и разврат.

Если же учений не было, мы подходили к большому дому перед базаром, где в полуподвале была пекарня. Через открытую форточку мы звали нашего деда Макара Ивановича, в прошлом кондитера Двора Его Величества, а теперь простого булочника. Нам выдавалось по горячей ароматной сайке, которые мы тут же съедали. Можно было есть, сколько хочешь, но, не отходя от окна, да нам не хотелось. Память напоминает мне еще о некоторых гастрономических утехах довоенного времени. На Нахимовской, ближе к «Примбулю», т. е. Приморскому бульвару, был «Консервный магазин» (буквы горели салатным неоновым светом), торговавший всем, кроме консервов. Там работала моя мама. Не часто мы с братом приходили туда в обеденный перерыв, в надежде поживится остатками халвы или повидла на железных противнях, остававшихся после торговли.

Главное же было в том, что в обеденный перерыв мы шли в кафе, маленькое и уютное, которое располагалось там, где сейчас пережидают дождь и холод ребята из почетного караула возле вечного огня. Там подавали такие слоеные булочки, каких больше мне не приходилось есть. Видимо, они были очень дорогие, так

как больше одной мама не покупала, не смотря на мои ухищренные намеки и просьбы. Кофе с молоком – только четверть чашки – маленьким мальчикам нельзя, сильно возбуждает.

Не смотря на провинциальность и патриархальный уклад бытия, я не был обделен информацией, необходимой для мальчика моих лет. Кроме библиотеки, дареных книжек, радиопередач, граммофона, театра, Ленинский лозунг: «Из всех искусств, для нас важнейшим является кино» неукоснительно внедрялся в мою жизнь.

Большинство кинофильмов довоенного времени помню до сих пор: «Ошибка инженера Кочина», «Девушка с характером», «Минин и Пожарский», «Бабы», «Если завтра война», «Линия Маннергейма», «Моряки», «Последний перископ», «Золотая тайга», «Вратарь», «Цирк», «Щорс», «Человек с ружьем», «Ленин в Октябре и в 18-м году»… Все фильмы были о хороших людях, о любви, о нашей военной мощи, но шпионы, контрреволюционеры и просто плохие люди всё-таки проникали в сценарии на короткое время. Лучше бы им этого не делать, потому что они все плохо кончали. Предельно плохо кончили японцы и белофинны. Пелись песни: «На Хасане наломали им бока, били, били, говорили: «Ну, пока!». «Ты, не суй свиное рыло в наш Советский огород!».

А еще мне выписывали журналы «Мурзилка» и «Чиж». Из них я узнал о боях на озере «Хасан» и на «Хан Хил Голе», о пограничниках братьях Котельниковых и Карацупе с его верной овчаркой Джульбарс, о бомбежках Мадрида. Я еще застал небылицы Д.Хармса в этих журналах: «Жили в квартире сорок четыре, сорок четыре веселых чижа…». Журнал «Пионер» выписывал брат Валя. Этот журнал был покруче. Там я прочел о подвиге Павлика Морозова, материалы о покушении на В.И.Ленина, с фотографиями пистолета и патронов и портретом Фани Каплан, пытавшейся убить нашего вождя. Кстати, я застал времена, когда в день смерти Ильича вечером на пять минут выключали повсеместно электрический свет, гудел Морзавод, выли сирены. Было жутковато.

Вероятно, к пятилетнему возрасту я знал уже все буквы алфавита. В ходу были несколько наборов кубиков с картинками и буквами, буквенное лото. Специально со мной никто не занимался. От случая к случаю папа, мама, брат показывали мне, как складывать слова. И вот однажды вечером у нас были гости, привели двоюродного брата Вову Чмеленко. Он был младше меня на два года. И вот ему я начал «читать» свои книжки. Книжки были в стихах, и все их я знал наизусть. Я переворачивал страницу и читал текст под картинкой механически, не вникая,

произношу ли его наизусть или на самом деле читаю. Зашел ехидный старший брат Валентин, посмотрел, послушал и поднял меня на смех, что я дуру валяю, не читаю, а произношу ранее заученное. Меня это задело, и я твердо возразил, что нет, что читаю как взрослый. Продолжая оставаться ехидным, Валентин повел меня с книжкой, которую я читал Вовке, к столу, где сидела орава взрослых. Помню, книжка была про Трезора. «Мы оставили Трезора без присмотра, без надзора и поэтому Трезор перепортил все что мог». (Рифма прямо скажем хиленькая, коробила еще в детстве) Перед всеми брат заявил, что я врун. Что я хвастаюсь, что умею читать. Он раскрыл несчастного «Трезора» в середине текста и велел мне читать с того места, где он, ехида, покажет пальцем. Я, не соображая, что делаю, прочел. Другое место указано грязным пальцем – я прочел. Толпа, то бишь родня, насторожилась и отвлеклась от застолья. Дядя Вася сказал: «Дайте ему газету». Мама сказала: «Он не знает мелкий шрифт». Это было уже похоже на защиту. «Ладно, пусть читает заголовки статей» – последовало предложение. Медленно, но не по складам, сам себе не веря, я прочел первое слово, потом другое и так далее. Самое интересное, что никто не пришел в восторг, я сам не ощутил ни какого подъема духа. Ехидный Валька по кличке «Каторжанин» за стрижку под ноль, исчез из поля зрения. После этого он стал капитаном второго ранга, самым молодым командиром подводной лодки на Севере.

На другой день я перечитал все вывески на магазинах. Когда же меня завели в учительскую, чтобы записать в школу (к тому времени я уже прочитал несколько книг), мама удивила учителей тем, что этот мальчик читает. Все заахали, ведь так мало таких маленьких мальчиков, которые читают, и положили передо мной большую толстую книгу с двумя словами, написанными крупными черными буквами. Я громко и нахально прочел: «КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ». Они сказали: «О! Да ему будет трудно у нас!». Я не попал к Ним, помешала Война. Но трудно мне было.

2. Читаю стихи

Память на стихи у меня была очень хорошая, и я знал их много наизусть. Сначала я читал стихи домашним, и только по просьбе. Чаще всего просили прочитать «Пуговицу», длинное стихотворение (автора не помнил никогда), о том как, по-видимому, не очень послушный мальчик нашел в пыли иностранную пуговицу, а по ней пограничники отыскали шпиона. Мальчик прославился. Мораль: непослушным быть выгодно – почти как у Марка Твена. Иногда, в пределах родной улицы, я искал иностранную пуговицу, не представляя, какая она, поэтому предприятия не имели успеха, не попадалась даже пуговицы от кальсон. Да и четкой цели, зачем мне все это, у меня не было, скорее всего, жаждал лёгкой и быстрой славы. Вот поэтому и не находил. Еслиб ничего не хотел, а просто искал, то непременно что-нибудь нашел, как советуют нынешние американские парапсихологи.

Я знал наизусть всю книжку стихотворений Агнии Барто, но взрослые не просили их читать. Я думаю потому, что большинство стихотворений имели характер наставлений, рекомендаций и нравоучений. Но ведь взрослые уже выросли, и большинство из них уже должно было знать, что надо чистить зубы, не врать, не обижать маленьких, не ходить вперед спиной, выпускать, наконец, стенгазеты и пр. Да, конечно, и знали же! Но за давностью все это утратило смысл, и взрослые поступали по обстоятельствам. Напоминания в стихах могли смутить, а это взрослым никак нельзя. Нравоучения вредят взрослым, они мешают жить.

Для оглашения стихотворения меня ставили на лобное место, то есть на табурет. Меня не учили сценическим приемам, поэтому я не выставлял гордо вперед правую ногу, не водил по воздуху руками для образной материализации предметов и событий из стихотворения, не завывал, не барабанил без пауз. Я просто громко и четко на хорошем русском языке читал стихотворение, соблюдая ритм и задавая уместный случаю темп. Эмоциональный компонент мог присутствовать, но по настроению. На заказ вдохновенное чтение повторить я не мог. Это сердило маму, но я не понимал, чего от меня хотят.

И вот в моей жизни произошло знаменательное событие. Я иду на Новогоднюю ёлку в штаб Черноморского флота. ДА! Именно в то здание с башенкой на вершине главного городского холма. Меня «конвоируют» бабушка и брат Валентин. У нас нет пригласительных билетов на это элитарное празднество. Но в

столовой штаба работает шеф-поваром Евфросиния Васильевна, родная сестра моей бабушки. Мы проникаем внутрь через кухню. Огромный зал, огромная елка. Под елкой куча мешочков с подарками и красивый Дед Мороз с меня ростом. Что происходило между началом и концом праздника, я не помню. Наверное, творилось что-то запредельное, слившееся в одно мгновение (читай «Золушку» Х.Андерсена).

И вот, скоро конец праздника. Уже из-под ёлки растаскивают мешочки с подарками, творится некоторая сумятица. Мужчина-распорядитель, блондин с рассыпавшимися прямыми волосами, явно не приглашенный артист, а кто-то из своих командиров, в замешательстве. В это мгновение бабушка выталкивает меня под ёлку, рядом с не живым Дедом Морозом и доверительно говорит распорядителю: «Мальчик читает стихи». Дядя резко ставит меня на табурет: «Читай! Громко!». (Молодой Наполеон, еще не генерал, устанавливает свои пушки на Аркольском мосту – начало его славы) Я ору: «Коричневая пуговка валялась на дороге». Постепенно зал успокаивается. Я прикончил «Пуговку» уже в обычном режиме. «Ещё!» – требует полупьяный блондин-распорядитель. Я читаю совсем не новогоднее: «На чужбине умирал Баранов, пленным у японцев и маньчжур». Командир умирает, но не выдает тайны. И вслед за этим, уже держа в руках два подарка, расцелованный командиром по собственной инициативе читаю о доблестных Армии и Флоте, и как мы им дадим, если завтра война. На меня нашло, накатило, накрыло. Истошно кричу: «За лётчиком вылетит лётчик, заляжет в траве пулеметчик, боец оседлает коня!». Белобрысый командир хватает здоровенного (ростом с меня, но это так тогда казалось) Деда Мороза и с поцелуем вручает его мне. Я с трудом охватываю объем этого изделия из папье-маше. Мы быстро всем коблом сваливаем на кухню, где наша одежда, и очень быстро покидаем великосветское собрание. На улице снег и легкий мороз, я, ликуя, несу огромный подарок, братья Вова и Валя просят понести, но я неумолим. Ответ один: «Это я выиграл». Первый человек, которому я отдаю свою ношу – мама, встретившая меня на пороге дома. Я повторяю уже заезженную фразу о том, что это я выиграл. Откуда взялся этот шулерский жаргон? Выиграл! Возможно, близкая война погасила жизненный вектор в игроке и дуэлянте.

Наутро в штабе разборка. Как так, главный приз должен был быть вручен внучке командующего! Где этот Маугли, что утащил Деда Мороза? Нужно забрать! Претензии пошли к шеф-повару. Ефросинья Васильевна, не вынимая из зубов бессменную папиросу «Беломорканал», произнесла: «Если так, то чтоб я ушла!» На этом все спустили на тормозах. Долгие годы Деда

Мороза ставили под ёлку. Каждый раз его подкрашивали, подклеивали, а через Рог изобилия, за спиной у истукана, засыпались конфеты. Пустым он стоял только в годы войны.

Теперь мама решила через меня осуществить свою несбывшуюся мечту – стать актрисой оперетты. Ладно, тогда пусть сын станет артистом. Она решила показать меня профессиональному артисту. Случай подвернулся. Шла богатейшая свадьба. Наш родственник Костя Москаленко, актер театра им. Луначарского, женился на дочери Евдокии Весикирской, сотруднице управления Горторга, Шурочке. Приглашен был почти весь состав театра, ну и, конечно же, весь наш клан. На банкете присутствовал премьер театра, ведущий и заслуженный.

Актеры пили много. Мама дождалась момента, когда прима выйдет на воздух. Только он уселся на скамейку во дворе, под окном дома, откуда несся несусветный гам, как перед ним появился маленький столик с графином водки и закуской. Актер величественно возлежал в картинной позе под углом 45 градусов, опершись протянутой рукой на спинку скамьи. Он отдыхал, выдыхал аромат сирени, курил и продолжал играть роль. Мастер мог отпустить опору на руку и остаться в положении под критическим углом, кроме того, он мог способами актерского мастерства перевести себя в вертикальное положение, чтобы принять дозу, и так же успешно мог опустить корпус в горизонтальное положение, соблюдая величавую стать. Ему было хорошо. Появление молоденькой, хорошенькой просительницы (дело-то привычное, но причем тут маленький мальчик?) вывело его ближе к вертикали, градусов на 30. Он вник в суть. Мохнатые черные брови нахмурились, глаза он сделал и прорычал: «Рассказывай». Ночной двор, гам голосов и музыка не вдохновляли. Для того только, чтобы отвязаться, я быстро и невнятно доложил «Пуговицу». Был я краток, но все равно на половине сказания актер утомился. Мутно он сказал: «Довольно! Плохо. Стихотворение плохое. Приходи когда-нибудь потом, я дам тебе другое». Карьера лопнула. Мы отступили под сень акаций. В детстве очень сильно чувствуешь настроение мамы. Я понял, как она опечалена. Мне-то было все равно. Однако подходящего место и время для разборки ни как не случалось. Это спасло меня от упреков. А потом, через месяц началась война.

3. Накануне

Восьмилетним мальчиком я жил в бабушкином домике, на улице Подгорной № 20, кажется, в шести домах от углового двухэтажного дома, с надписью на фасаде ДОМ ДИКО – фамилия прежнего владельца, на который в эту ночь должна была упасть бомба. Вечером 21 июня, по случаю воскресения папа, мама и я гуляли по Большой Морской. Кажется, родители выпили накануне немного вина и были в благодушном и веселом настроении. Мы прошли мимо кинотеатра «Ударник», где я видел первые в своей жизни кинофильмы. Далее мы прошли мимо булочной, на витрине которой красовался громадный румяный бублик выше моего роста. Когда бы я ни бывал в этом месте, очарованный, восхищенный должен был «побалдеть» у витрины. От циклопических размеров этого, как потом позже понял, ненастоящего изделия я впадал в легкий благоговейный транс, я очень хотел, чтобы мне его купили. Потом на этой же стороне улицы мы прошли мимо странного и невнятного памятника посередине тротуара. Это было не конкретная остроконечная кучка серо-сизых людей, увенчанная полотнищем знамени. Он был сооружен в связи с произошедшим здесь расстрелом якобы восставших иностранных моряков своими же ребятами. За давностью лет и значительно сниженным градусом интернационализма теперь можно предположить, что имело место банальное подавление бунта по бытовым вопросам (так мне, во всяком случае, рассказывала бабушка).

Примерно, напротив, на другой стороне улицы располагалась поликлиника тубдиспансера, куда меня водила мама, так как я часто болел и был подозрителен «по туберкулезной интоксикации», к счастью, не подтвердившейся. Запомнилась добрая доктор Панкратова и процедуры – «Лампа Баха»: темно-зеленные очки-консервы, запах электрического разряда и озона, голубоватые, не здешнего оттенка, складки на белоснежных простынях.

Обратно на трамвае по кольцу мы доехали до спуска – от Большой Морской к Артиллерийской бухте и единственному тогда Центральному рынку, в обиходе называвшемуся базаром. На правой стороне спуска стоял многоэтажный дом, обыватели называли его «Дом Аненко». (Теперь здесь универмаг) Под его стенами располагалась замечательная лавка по продаже газированной воды. Здесь заправляла семья Ягодзинских, не знаю, то ли они были караимами, то ли евреями. С одной из девочек клана в школьные годы дружила моя мама. Заведение

было в авторитете у горожан, очередь у стойки не иссякала. Набор сиропов в длинных стеклянных колбах в блестящих револьверных кронштейнах был необыкновенно широк. Разнообразие цвета завораживало. Вода и газ были самыми лучшими, стаканы самыми чистыми, ложечки на длинных витых ручках самыми красивыми. Продавец в белоснежной куртке работал машинально, но элегантно, с шиком, быстро и весело. Над всем великолепием стоял легкий мелодичный звон стекла, приятное шипение воды в моющих фонтанчиках. Яркое освещение в окружении ночной темноты дополняло ощущение вечного местного праздника, «который всегда с тобой». Выпить стакан воды, даже если не хочется, входило в план гуляния – это был ритуал. Как печально, как грустно. Немцы расстреляли всю семью и мамину подружку. Праздник погас и больше не вернулся.

Выпив воды, мне с двойной крем-содой и еще стакан шоколадной, мы прошли между деревянными рядами пустого базара в крепких запахах близкой морской воды, смолы и копченой рыбы. Через гулкий деревянный мостик над пересохшей речонкой, скорее открытой городской клоакой (теперь под бетоном) вышли в прекрасную и глухую аллею акаций на Артиллерийской улице. Третий дом от угла по правой стороне был домом Красова Юлия Федоровича, предпринимателя и подрядчика, отчима моего папы. Здесь в многодетной семье прошло детство отца. Дом каменный, в три этажа, был радостно экспроприирован молодой, оголтелой властью. Во время осады он сгорел, остался фундамент и фасад. Был восстановлен и очень похож на прежний. Прав наследования я не имею.

Мы дошли до перекрестка, где на правом углу располагалась школа, построенная на месте Греческой церкви. Фрагменты металлической ограды церкви и железные ворота продолжали служить очень долго и после войны. Мне сдается, что очень маленьким я был внутри церкви, остро запомнилось стрельчатое окно с разноцветными стеклами в проходящих солнечных лучах. Разрушение церкви осталось в памяти грудой серого камня и тем, что брат Валентин принес с развалин пачку «Екатеринок» – старых денег в виде больших листов неопределенного цвета с царственной женщиной на троне. Этот поповский клад нашли в печной трубе.

В новой школе учился в шестом классе двоюродный брат Валя. Туда же первого сентября было положено идти и мне. Предварительная запись с моим присутствием уже была осуществлена в начале июня. Беглым чтением подручных канцелярских текстов я поразил присутствующих учителей. Читать я начал с шести лет каким-то непонятным образом почти

внезапно, без обучения. Мама была горда. Война и бомбежки внесли коррекцию в судьбу. В школу я не пошел. Об этом – потом.

Напротив школы, в угловом одноэтажном доме был хлебный магазин, в котором продавали только один сорт серого круглого хлеба, так называемой ручной выпечки. Иногда меня посылали туда за хлебом, с зажатыми в кулаке монетами – «для без сдачи».

Через дорогу от хлебного магазина в полуподвале дома с округлым угловым ребром, за маленькими синими дверцами находился «Буфет» – так значилось на вывеске. На противоположном углу вечерами до начала сумерек стоял маленький старичок, с синим переносным лотком на одной ножке. Широким кожаным ремнем, перекинутым через шею торговца, лоток удерживался в вертикальном положении и помогал переносить его. Под стеклянной крышкой лотка были разложены сладости: красные прозрачные петушки на палочке, мутные в сахаре рыбки, розовые полупрозрачные фигурки людей, заполненные внутри сиропом. Из экономии мне покупали мутную, «дохлую» рыбку, все остальное было не по карману. Рыбка перекатывалась во рту, как большая пуговица, скудно выпуская из себя сладковатую эссенцию.

Описываемым вечером старичок уже не стоял, было поздно. Мы спустились в «Буфет», здесь мне купили две «Микадо» – вафельные треугольники с розовой помадкой химического оттенка и такого же вкуса, между двух листков тонкой сухой «фанеры». Тактильное ощущение от вставленной в рот вафли было пренеприятнейшее, – сухая наждачная шершавость и треск пересохшей соломы. Как можно было любить такое изделие, обещавшее наслаждение? Я не любил, а любил пирожные, но денег не было, их не было не только на это, но и на очень многое другое более важное. Но помнится, мы всегда были веселы и счастливы, как и в тот вечер. Худшее и страшное уже готовилось на завтра, а потом и на долгие – долгие дни и годы. Одно противное приторное «Микадо» было съедено мирным вечером. Другое – встретило утро войны на блюдечке у краешка стола.

Угол здания с хлебным магазином и противоположный угол с буфетом, образовывали одну сторону перекрестка Артиллерийской улица с Греческой улицей. Другая сторона состояла из угол школьной ограды и угла глухой стены, за которой торчали коричневые обугленные конструкции коптильни. Запах от коптильни был главным на этом перекрестке. Улицы были вымощены гладким серыми, одинаковыми по размеру, булыжниками. Улица Греческая шла наклонно вниз к Банному переулку, где на самом деле располагалась старая-престарая баня. Мне дважды удалось там побывать.

Причём первый раз меня пятилетнего мама взяла с собой в женское отделение. Пребывание мужчины в женской бане прошло бы незамеченным, но у меня в руках была игрушка, резиновая Зина, с дырочкой на спине и я пускал струйки из неё. Нечаянная струйка попала на спину жирной тетке, и она подняла тревогу. «Безобразие! До чего уже дошло, к женщинам пускают мужчин!». Меня удалили в холодный предбанник, закутали в полотенце и приказали молчать, чтоб не выдать половую принадлежность, а сами пошли домываться.

Второй раз я был в бане с отцом. Зимним воскресным утром мы вышли из дома, как солдаты, неся под мышкой в свёрнутых полотенцах мыло, мочалку и смену белья. Сначала мы зашли в парикмахерскую на этой же улице. Тут отца все знали, все кланялись. В зале стояло несколько кресел, самое крайнее пустовало, на нём висела табличка «ДЛЯ НАЦМЕНОВ», да, да, в те времена очень уважали национальные меньшинства, сильно обиженные царём-батюшкой. На кресло под меня поставили скамеечку, и парикмахер спросил, как меня постричь. В те времена все стриглись под спортивный бокс. Не представляя уродство этой прически я, млея от мужественного слова, заявил, что под бокс. Папа тактично исправил бокс на полечку с челкой. После мы помылись, попили квас, а потом папа таскал меня по скудному льду хилой речушки, куда текла отработанная банная вода.

По лестнице-трапу мимо Подгорной, мимо дома Дико, куда упадёт бомба, и Цыганской улицы мы поднялись к себе в дом на Наваринской. Застекленная веранда нашей квартиры выходила на восток. Отсюда был виден весь Севастополь от внутреннего рейда и Северной стороны слева до купола здания панорамы – справа. Прямо на вершине холма виднелось здание штаба флота с круглой башенкой. Там иногда появлялся сигнальщик и что-то писал флажками. Я выходил за дверь веранды, на лестницу, и махал ему двумя майскими красными флажками. Казалось, он меня видит.

Правее по ребру холма – величественный Владимирский собор. Помню его яркий крест в лучах заходящего солнца. В книгах я встречал, что крест был снят в 1937 году. Но я четко помню его сияние, в лучах заходящего солнца. Когда же это было?

Ближе к правому скату холма виднелось самое высокое здание, увенчанное то ли башней, то ли ротондой. Оно обозначалось тайной для меня аббревиатурой «БеКаЧерНас», во всяком случае, так мне сказали старшие. В войну оно сгорело, но его остов с башней, гордо возвышался над всем поверженным в прах городом. Эта башенка стоит и теперь.

Мы вернулись с прогулки часов в 10 вечера. Ночи на протяжении предыдущей недели были душными, без малейшего движения воздуха. Наступающая ночь обещала быть такой же. Посему опять тюфяки и простыни укладывались на деревянный пол террасы. Подушки опирались о стенку напротив застекленных окон, заклеенных крест накрест узкими полосками газетной бумаги. Эта мера (заклеивание) настоятельно пропагандировалась домоуправами и через черные тарелки репродукторов. Считалось что вовремя учебных стрельб, а они были последнее время очень частыми, описанные меры могут спасти от растрескивания и выпадения стекол. За нашей улицей, в сторону Мартыновой и Карантинной бухт, по кромке берега стояли батареи береговой обороны. Когда они начинали работать, казалось, что они стреляют у нас над головой. Стекла веранды изрядно жужжали.

Мы улеглись, свет еще горел. Не помню, бодрствовал я или начал погружаться в сон, как вдруг над моей подушкой на стене я увидел отвратительного громадного паука. Его округлый серый панцирь величиной с плошку столовой ложки был покрыт множеством мелких черных крестов, обрамленных белыми полоскам (такие кресты я видел потом на немецких танках и на крыльях Мессершмиттов), членистые ножки были длинные, множественные. Я испугался и заорал: «Паук!». Не знаю, сам он исчез или его прибил отец. Все продолжалось мгновение. Прошло семьдесят лет, но я помню – это было.

Не последовало ни каких разговоров, объяснений, утешений. Ныне мне это удивительно. Ночной сон и последующие ужасные события дня начала войны стерло из памяти это происшествие на долгие годы. Где-то после шестидесяти лет это внезапно пришло на память. Картинка была такой же четкой и контрастной, как в тот давний вечер.

Примерно в это же время начался свойственный возрасту процесс наплыва воспоминаний и их критической оценки. Этакое интеллигентское самокопание. Положительный опыт реальной оценки былых событий, более полного и точного их понимания у меня уже имелся. «На старости я сызнова живу. Минувшее проходит предо мною» (А.С.Пушкин).

Как бы теперь объяснить для себя это явление. Мистический настрой отпадает. Кругом кривлялся и фанатично воевал атеизм. Верить в Бога и чудеса в детской среде считалось позорным. В ближайшем семейном окружении, кроме прабабушки и бабушки, верующих не было. Правда и разговоры ни за, ни против по этой теме не велись. Тема была закрыта, как оказалось временно, до прихода немцев. Можно допустить, что образ страшного паука

был снят моим подсознанием с картинки многотомной энциклопедии Брема «Жизнь животных», может быть, из фильма «Руслан и Людмила», где паук – хранитель меча, оплетает Руслана веревками паутины, может быть, генетическое безотчетное неприятие, и до сих пор, разного рода гадов: змей, лягушек, тарантулов и скорпионов, создало фантомный образ. Но почему он объявился именно в такое время? Если на самом деле это было, то, что это? Знамение? Предостережение? Или обычное материальное совпадение. Так и остается неведомым.

Но это было!!!

Глава II
Осада

Двенадцать раз луна менялась.
Луна всходила в небесах.
И поле смерти расширялось,
И все осада продолжалась
В облитых кровию стенах.

Стихи графини Евдокии Растопчиной на памятнике П.С. Нахимову, 1898 г.

1. Первая бомба

Первая бомба войны упала на город Севастополь, как сообщает писатель П.Сажин в повести «Севастопольская хроника», ранним утром 22 июня 1941 года. Была это не бомба, а мина, тихо и коварно, в темно-сером предрасветье зловещей тенью скользнувшая на парашюте во внутренний двор двухэтажного «Дома Дико», что стоял на краю улицы Подгорной (теперь Нефедова). Остатки обожженной парашютной ткани и стропы были потом обнаружены на высокой стене, ограждавшей двор от нависавшей над ним улицы верхней террасы. Некоторые жильцы дома, как и большинство жителей окраин города, по давней традиции спасаясь от июньской духоты, мирно спали во дворе.

Крепкий детский ночной сон прервал взрыв. Стекла веранды брызнули на наши постели. Я еще не проснулся, но почувствовал себя на руках отца, закутанным в одеяло, на улице, на лестничной площадке перед верандой. Первое, что я увидел, – оседающее серо-черное облако в полнеба, местами сохранившее еще энергию летящих кверху камней. Книзу к земле облако сужалось конусом и в его центре, гас ало-красный свет. Остальная половина неба была исполосована мечущимися лучами прожекторов и сетью летящих со всех сторон светящихся огоньков трассирующих снарядов. Негодующий крик мамы: «Зачем только заставляли обклеивать окна, вот все разбилось!». В уши ворвалась артиллерийская канонада. Казалось, стреляет все и отовсюду. Испуганные жильцы дома и ближайших дворов высыпали на улицу – впервые вопросы: «У вас все живы?». Мама побежала к стене над улицей Подгорной, откуда сверху был виден дом и двор моей бабушки. И те же кричащие вопросы. Отвечали: «У нас все живы. Снесло печную трубу и часть черепицы. Идите к нам». Пробежал матрос с повязкой на рукаве, созывая всех военных. Стали доходить слухи о том, что был второй взрыв на Приморском бульваре, что самолет подбит и ушел в сторону моря, что двухэтажный дом на Подгорной разрушен и есть убитые и раненые. Отец громко сказал матери: «Клава, это война. Собирай Жорку (мня), идем к своим на Подгорную».

Стало светать. Стрельба постепенно стихла. Над местом взрыва повисло серое пылевое облако, стали слышны далекие крики и стоны, призывы о помощи.

На улицу Подгорную к родне мы спустились по крутой скальной тропинке со стороны противоположной взрыву, вдоль старой крепостной стены. Все уже были на ногах, прибежали родственники с улицы Щербака, там с высоты они все видели. Все

говорили много, быстро, нервно. Сходились на том, что с этой улицы всем надо уходить к ним в дом на Щербака. Почему принималось такое решение, толком никто не мог объяснить. Вероятно, паника, ожидание повторных бомбежек стали проявлять стадный инстинкт (это хорошо, это надежно, вместе не так страшно). Ничего не ясно, ничего неизвестно, надо что-то делать. А что? Во всяком случае, подальше, подальше от этого страшного места, от этого злосчастного дома.

Похватав, что попало под руку, мы двинулись в наш скорбный путь по Подгорной улице, мимо развалин «Дома Дико». Солнце еще не взошло. Воздух, земля, домики, все было серо от пыли. Поваленные столбы со спутанными электропроводами. Громадные камни через всю дорогу. Но часть фасада дома вместе с буквами «ДОМ ДИКО» стояла. Был виден срез полуразвалившихся квартир верхних этажей: кровать с пружинной сеткой висела на одной ножке, поломанный стол, абажур на уцелевшем потолке. Белые отштукатуренные стены комнат, с картинами, фотографиями, часами-ходиками, как декорации в театре им. Луначарского, в котором я не раз уж побывал.

В стороне стояли пожарная машина, скорая помощь, носилки. На развалинах трудились люди. Были слышны крики, стоны, надрывный плач.

2. Паника

Дом на улице Щербака. Здесь с детьми и внуками жила бабушкина родная сестра – тетя Фрося, шеф-повар столовой штаба флота. В трех маленьких комнатах нас образовалось слишком много. Меня и двоюродного брата Вову уложили на малюсенькой детской кроватке в крохотной комнате без окон как бы досыпать прерванную ночь. Горела лампа, завернутая в газету, стены были в трещинах. Было душно и тоскливо. Страх застрял где-то под ложечкой, даже подташнивало. В соседних комнатах без конца перемещались взрослые, шли постоянные разговоры о случившемся, вновь приходившие вносили дополнительные сообщения одно чудовищнее другого. Самые осведомленные участники взрыва (так они считали) рассказывали подробно, что мина величиной с акулу зацепилась парашютом за край стены ограждения от верхней улицы и повисла. Если бы ее не трогали, то ничего бы не случилось. Но тамошняя молодая девушка увидела парашютный шелк и сказала матери, что это будет ей на платье. Стала его отдирать, и произошел взрыв. Еще, на крыше дома, где шел банкет командного состава флота, кажется, это был ТКАФ (театр Красной армии и Флота), находился корректировщик, передававший самолету, куда бросать бомбу. Что обнаружили шпионов среди ведущих актеров театра им Луначарского. В Карантине мужчина полез на крышу поправлять печную трубу и был застрелен бдительным милиционером, не без подсказки соседа, что де это корректировщик. Доходили и страшные слухи о жертвах дома на ул. Подгорной.

Но вот захрипела тарелка репродуктора. Пронеслось: «Выступает Молотов». Волнение, плохая слышимость, не все понятно. Понятно одно – ВОЙНА. Война с немцами. «Ну, мы им дадим. Ну, наши им дадут!» Однако будут бомбежки. Что делать?

А вот что. Напротив школа, под ней газобомбоубежище. Детей туда!

Меня, братьев Валентина и Володю мамы ведут в подвал под школой (после войны это была школа № 5). Железная герметически закрывающаяся дверь. Строгая женщина с противогазной сумкой через плечо. «Что делать, у нас уже полно!». Все же нам выделяют место на полу. Кровати и скамьи заняты. Стоит равномерный людской гул. Есть завсегдатаи, они здесь с раннего утра. Ведут себя по хозяйски, претендуют на льготы первооткрывателей Со знанием дела уверяют, что газ сюда не проникнет, а бомба предварительно должна пробить пять

этажей и уж на одном из них обязательно взорвется, так что мы здесь в полной безопасности. Только вот душно, и духота нарастает, плохо с водой, о еде умалчивается, готовить нельзя.

Мне скучно, неудобно на жестком полу. Ни с того, ни с сего начинаю покашливать. Роптание соседей. Появляется медсестра. Властно и безоговорочно меня закрываю в изоляторе. Там кровать, стул, стол. На чистую выглаженную постель ложиться запрещено. Я одиноко сижу на голой табуретке. В широкое окно видны стоящие снаружи мама и братья. Старший брат Валентин обидно кривляется, называет арестованным и намекает на мое длительное заключение. Непонимание происходящего, обида, чувство отверженности, и мамы рядом нет. Подкатывают слезы, и вот я уже реву. Мама не выдерживает. Приходит освобождение, вмести с изгнанием из спасительного бомбоубежища. Слава Богу, я на воле, на свежем воздухе. Однако меры по самоспасению не прекращаются. Возникает и укрепляется мнение, что от предстоящих бомбежек следует бежать подальше от города, в пещеры, где-то на пятом километре Балаклавского шоссе… Весь наш кагал: мужчины, жены, дети, бабушки (дедушек уж нет, крепкие и отважные севастопольские ребята сократили сроки своего пребывания на этой земле крутыми мужскими занятиями и избежали чертовой войны) рассыпанной сетью двинулись к этим, обещающим покой и спасение местам. В балке, в пойме бывшей реки были обнаружены на склонах холмов приземистые удлиненные отверстия пещер естественного происхождения. Нашли размером побольше, очистили от дерма и разделили участки дислокации. Зашумел примус, запылал костер. Началась готовка незатейливой еды. К закату солнца стали слышны далекие взрывы, вновь заметались по темному небу прожекторы. К томительному страху ожидания бомбежки присоединялись разные дополнительные страшилки. Вот невдалеке прошел огромный черный цыган, ведя под руку молодую цыганку, как бы насильно. Женщина шла как на закланье, бессильно опустив плетьми руки и голову. Вездесущий брат Валентин усмотрел у цыгана за спиной обнаженный нож. Тут же резюмировал, что цыган повел девушку зарезать. Теперь я знаю, что цыгану незачем было вести женщину так далеко, чтобы убить. Мужчины уводят женщин далеко в степь по другим причинам, да и состояние цыганки отражало вовсе не обреченную покорность перед возмездием, а крайнюю степень любовной истомы.

Кто-то из мужчин пришел с работы и сообщил, что Молотов и Ворошилов на самолете перелетели к немцам, что в городе ловят диверсантов, что на крышах домов работают вражеские радисты-корректировщики для управления налетами авиации. Страх и

беспокойство вызывало небывалое обилие саранчи. Степь вблизи колыхалась от постоянно движущейся массы больших темно-коричневых насекомых. На трамвайном полотне раздавленная тварь мешала движению вагонов. Возникали разговоры о нашествии, как о плохом предзнаменовании. Молодой дядя Шура, по кличке «Бемс», заставлял пойманную саранчу «курить». Дрянь, обхватила лапками папиросу и, кажется, в самом деле вдыхала дым, а потом и окочурилась. Было омерзительно и не смешно. Все вокруг давило на маленькую душу слабенького, инфантильного мальчика, нагнетая чувство безысходности. В поздних воспоминаниях все происходившее определялось как полный абсурд.

Интересно, что через пятьдесят лет на этом месте была построена больница, – проект сортировочного эвакогоспиталя, переделанная потом под детский лечебный центр. Это было советским абсурдом. Как мне пришлось создавать и осваивать на этой базе детское лор-отделение, может быть, расскажу позже. Здесь же только замечу, что из окна моего кабинета были видны те же унылые пещеры. Я их узнал.

Истощив запасы провизии, и достаточно натерпевшись от первобытного уклада жизни, смерившись со страхом налетов, племя наше двинулось назад в город, по своим, еще стоящим в целости домам. К этому подгоняли и начавшиеся недоразумения, и конфликты, неизбежные в больших разномастных коллективах. Гневливость и недоумение: «Почему эти делают так, а не вот так, а мы привыкли делать вот так и так?!».

Бомбежки Севастополя то затихали, то возобновлялись. Гудки Морзавода и серены оповещали о приближающемся налете все с большим запозданием. Посчитав справедливо, что налеты будут нарастать, мужчины родственных семей решили отправить жен и детей в Симферополь. Подальше от военных объектов. В мирный торговый город. Так и сделали.

3. Симферополь

В Симферополь мы отправились двумя полусемьями: старшая мамина сестра Татьяна с сыном Валентином и мы с мамой. Мужчины, отец, дядя Вася, и бабушка остались на Подгорной. У мужчин броня, как у незаменимых работников, бабушка на хозяйстве. За прошедшие две недели войны, Симферополь не бомбили. Нас встретили тишина, зной и пыльная листва. Больше встречающих не было. Изначально при сборах тема жилья как-то легкомысленно была опущена. Ни родственников, ни близких знакомых в этом городе мы не имели. Такое состояние дел можно было тогда объяснить только продолжающейся тихой паникой. Феномен далеко не единичный – «Здравствуйте, мы приехали спасаться от бомбежки!». Длительное бездумное стояние на неприглядной вокзальной площади не привело к обретению крова. На втором часу на тетушку сошло откровение: где-то на дальней окраине города живет подруга детства и юности Казя, Казимира, и ее польская родня.

Мы протащились через весь город к каким-то хатам и садам, нигде не встретив никаких признаков войны, ни суеты, ни военных колон, ни мужчин, спешащих записываться в добровольцы. Кази не было. Она уехала далеко и надолго. Была старшая сестра Ванда с тремя детьми, только что закончившая свой страшный путь от Бреста. Муж пограничник остался там, жив ли, неизвестно. Все, что успели захватить, – большая банка варенья, питание на весь десятидневный путь. Под ними разбомбило три состава. Их постоянно расстреливали Мессершмитты. Они видели кровь и поля, усеянные трупами. Это была другая, их война, не такая, как наша.

Из дома-хаты вышел седой дед. Что-то отрывисто сказал на непонятном языке. Ванда перевела: «Принять не можем. Самим негде жить». Ни глотка воды, ни одной ягодки, а сад ломился от изобилия всего.

Куда теперь? Татьяна вспоминает, что у нашей соседки по улице Подгорной Сары Толобовой в Симферополе живут родители. Даже где-то записан адрес. Запись, к счастью, обнаруживается. Опять через весь город в наступающих сумерках находим усадьбу. Большой каменный дом окнами на Евпаторийское шоссе. Громадный фруктовый сад. Здесь живет чета престарелых евреев с младшим братом Сары. Нас безоговорочно впускают в просторные большие комнаты. Прохлада. Золотистые рамы картин, старинная мебель. В изумительных золотистых чашах подается простокваша, сметана,

молоко, свежий хлеб. Нас моют и укладывают в неизведанные перины высотой до потолка.

По ночам, в стороне Севастополя, видны вспышки голубоватого огня, узкая полоска красного зарева и сливающийся в единый гул грохот взрывов. Когда грохот приближается ближе, и слышан рёв самолётов, нас будят, и мы бежим прятаться в сад среди деревьев. Так длится несколько дней. Нас никто не гонит. Но мы скучаем по дому, по привычному для нас укладу бытия. Приходит письмо от папы. На отдельном листке, под трафарет, большими буквами слова привета для меня. Папа сообщает, что бомбят меньше. Мы решаем возвращаться. Прощаемся с гостеприимными хозяевами. Предложенные за постой деньги категорически отвергаются. Милые добрые люди! Мы их больше никогда не увидим. Через месяц по шоссе, на которое выходит их дом, пройдут пешком и на танках белокурые мерзавцы, и не останется никого.

Обратный поезд до Севастополя тянется почти целый день. Проводники объясняют, что это связано с приказом – при объявлениях налета на Севастополь, движение прекращать.

Стоим в степи, среди зноя, стрекота кузнечиков, всеобщей расслабленной лени, тоскливой неизвестности. В Бахчисарае стоим около трех часов. Много черешни и татар. Канонада со стороны Севастополя слышна сильней. Что-то будет с нами? Что нас ждет? Немой вопрос на лицах людей. Подобное состояние остро, до слез, испытано мной осенью 1993 года, когда на загаженной Московской мостовой умелый немолодой баянист играл и пел песню Шевчука: «Что же будет с Родиной и с нами?». Как мог этот необыкновенный человек, поэт и композитор, предвидеть глубину народного несчастья последовавшего за развалом великой нашей Родины? Грустная осенняя безысходность предсказала лихой криминальный разгул, приход «дней окаянных».

4. Начало осады

Удивительно, но Севастопольский вечер встретил нас тишиной. Еще не были видны разрушения. Еще ходили трамваи. Правда, на перекрестках городского кольца появились полукруглые приземистые сооружения с узкой горизонтальной щелью вместо окна. То ли доты, то ли временные огневые точки. Сложены они были из желтого рыхлого евпаторийского камня. Вид их был неожидан, но грозен. Большие стеклянные витрины некоторых магазинов обложены мешками с песком. Много плакатов на военную тематику, знаменитый теперь: «Родина Мать зовет!». Фасадная стена ТКАФа (Дом офицеров, Дом флота) покрыта громадными полотнами с карикатурами на Гитлера и его банду. Тут же большая карта, на которой красными флажками ежедневно отмечаются границы фронтов. На краю Приморского бульвара, ближе к зданию Института Курортологии – шатер брошенного цирка Шапито. Совсем недавно здесь было ярко и празднично. Теперь за отвернутым краем полога только полный мрак, пустые скамьи, мышиный запах. Белые стены домов заляпаны черной краской для маскировки. Дома и стены на улице Подгорной стали рябыми, на всякий случай бабушка заляпала так же белых кур. Введен режим светомаскировки и строгое его соблюдение. Стращали даже стрельбой по плохо затемненным окнам. Обычные наши перегибы: ночью на улице нельзя курить – огонек может привлечь внимание пилота самолета. Многих глупостей уж и не помню. Вводились дежурства на крышах для борьбы с зажигалками. С вечера на границах подлета к городу вражеских самолетов на всю ночь поднимаются в небо заградительные аэростаты. В основном я видел их в районе Куликова поля. Мероприятие это длилось недолго, и было упразднено, вероятно, за неэффективностью.

Школа, как и положено, начала учебный год с первого сентября. Но уже скоро октябрь. Меня не ведут в первый класс, начало занятий пропущено по причине наших скитаний, описанных выше, а также из-за маминых опасений в связи с участившимися налетами. Мама занималась со мной сама – чтение вслух, написание карандашом в тетрадке в «три косых» сначала палочек, потом кружочков – однообразные страницы уродливых, нестройных знаков. До каллиграфии мы так и не дошли (потом стало не до этого).

На улице перед домом была выкопана «щель» – укрытие от бомбежек. Узкая, почти на ширину плеч канава длинной 4 метра, высотой в человеческий рост. Тонкая скамья вдоль стены. Сверху

были уложены ряды хлипкого горбыля, присыпанного выкопанной землей. Руководства и чертежи по созданию этого укрепления были каким-то образом доставлены в каждый дом. Я попробовал спуститься в эту преисподнюю, но оставаться там более минуты не смог. Темнота, слабый огарок свечи, незнакомый еще запах свежепотревоженной земли, звуки осыпающегося со стен песка, неведомое чувство клаустрофобии. С криком и плачем, хотя и с чувством стыда за отсутствие мужества, я был удален и более там не бывал.

Прятались же мы от бомбежек, артиллерийских и минометных обстрелов в особом подвале при доме. Необходимы пояснения. Улица Подгорная вначале своего образования прилепилась на склоне холма, на террасе. Постепенно она расширялась трудами ее поселенцев, вплоть до плотного скалистого наплыва, которым была образована высокая, довольно ровная отвесная стена, одновременно являющаяся задней стеной дворов и домостроений. В этих скалистых стенах на уровне дворов потом были пробиты подсобные помещения для кладовок, разного рода живности, для хранения домашнего вина и бузы. Да, да бузы – такого бело-мутного, резкого, довольно приятного напитка из пшена.

Нашему подвалу предшествовала летняя кухня, в семье она называлась сенцы. Вход в подвал был узким, в виде овального отверстия, шириной до полутора метра и такой же высоты. Вглубь подвал расширялся, образуя помещение диаметром до четырех метров. За время осады отец его еще углубил в податливых слоях глинистой породы, в добавочную конуру метра в три, там была наша спальня. Природный слой скалы над нами почти в шесть метров надежно защищал нас от любого, даже прямого попадания бомбы. Очень слабым местом был вход в подвал, не смотря на дубовую дверь и каменный бункер перед ней, вряд ли все это устояло бы от разрыва бомбы перед входом. Тем не менее, подвал спас всю нашу семью. Слава Богу! Слава подвалу, где я провел все дни осады города! Это именно так. От малейшего намека на обстрел или налет я стремительно летел в подвал. Страх безотчетный. Рефлекс выработался стойкий. Не помогали никакие увещевания родных и насмешки брата. Последние месяцы блокады я вообще не выходил наружу. Только в подвале я чувствовал себя надежно защищенным. Я там безвылазно играл, читал, ел, спал. К ночи в подвал собиралась вся семья спать. Только тогда я успокаивался окончательно.

Перенесенный страх остался со мною на всю жизнь, я вырос трусливым, нерешительным, бесконфликтным, не умеющим постоять за себя. Я боялся учителей и начальников, продавцов и

милиционеров, девочек и грубых сильных мальчиков, боялся «что обо мне скажут или подумают». Хлипкий стержень, основа личности, был повержен страхом войны. Я знаю, что такое «выдавливать из себя по каплям раба». Удавалось ли мне это? Наверное, удавалось, но не так часто как хотелось бы. Нет, не выросло из меня бойца, настоящего мужчины. Но, как, ни странно, мне неприятен хамоватый, нахальный, сильный и пробивной, часто неоправданно властный человечишка, без совести и сострадания к людям. Таким быть мне не хотелось (а может быть, лукавлю – не хватало духа). Не та была заложена программа на жизнь. Привет тебе, ярковыраженная посредственность. Сверчок, где твой шесток? Но, тем не менее, не раз в жизни я шел на бой с хамством, да и с самим собой. Правда, не всегда побеждал, поэтому постепенно привыкал к конформизму.

Но нет! Стоп! Всё правда, и всё не так!

Когда в первом издании книжки этот абзац прочли мои близкие, они были не довольны. Ты не такой, возвел на себя напраслину. Люди, причастные к литературе, заметили мне, что представленный душевный стриптиз неуместен в книжке такого рода, как эта. Она ведь о героических событиях. Толстовство, Жан Жак Руссо, сейчас нам это не нужно. «Сегодня нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим!».

Я согласен! Но человек не однозначен и в разные минуты и в разные периоды жизни бывает разным. Просто посчитал нескромным писать о себе положительно. Ладно, продлим лирическое отступление о становлении и воспитании чувств, но не здесь, в едином блоке, а по мере повествования, в некоторых главах. Сейчас коротко об одном случае преодоления себя. Пусть не в тему главы, но просто чтобы не забыть.

Размышляя о смелости, беседуя с прошедшими войну, читая разные хорошие книжки, я утвердился во мнении, что по-настоящему смелый человек это тот, кто, не смотря на опасность и чувство страха, преодолеет себя и выполнит то, что велят ему совесть и обстоятельства. Горлохват потому и орет, что боится. А тупое бесстрашие – это патология души, акцентуация личности.

На мысе Хрустальном долгое время, еще с довоенных времен, стояла десятиметровая вышка для прыжков в воду. Мы, орава огольцов с 6-ой Бастионной, постоянно купались здесь, на Солдатской пристани. В обеденный перерыв приходил молодой парень с соседнего «Мехстрой завода». Атлетичный, загорелый, с длинными волосами до плеч. Он поднимался на самый верх вышки и красиво прыгал «ласточкой», к нашему восторгу и нам на зависть. И вот мы решили прыгать с первого яруса вышки.

Возбуждая и подталкивая, друг друга, мы поднялись на вышку. Высота метра два. Вода прозрачная, и у основания вышки мысом вдается под водой скала, поросшая острыми лезвиями мидий. Непривычно большой кажется высота, когда заберешься на вышку, не то что смотреть с берега. Страх преодоления первой высоты, страх напороться на скалу с ракушками давил меня.

С воплями отчаяния вся орава попрыгала ногами вперед и благополучно вынырнула. Я остался один на вышке. Моего отсутствия никто не заметил, и я мог бы спокойно уйти, спокойно окунуться в воду с бережка и избежать насмешек. Но чувство долга, мальчишеской чести. Сердце заколотилось в груди, я разбежался, оттолкнулся как можно сильнее и мгновенно очутился под водой. Вынырнув, я издал торжествующий крик. Я победил. Ликование и гордость собой были беспредельны. Я до сих пор горжусь тем мальчишкой. Потом я осмелел и стал прыгать с разбега, «козлом», головой вниз, «щучкой».

И вот однажды, когда никого не было из ребят, я забрался на самый верх вышки, возможность отступления была обеспечена. Подумаешь, мальчик забрался на вышку. Ну, посмотреть. Ну, слез. Я подошел к краю платформы. Высота! Сердце прыгнуло к горлу. Но опыт преодоления себя уже был. Я оттолкнулся, сделал «ласточку» и больно лбом ударился об воду. Ушел глубоко, выныривание продолжалось непривычно долго. Это тоже была победа, но уже привычная.

Как-то с подвыпившей компанией друзей на небольшом озере под Артемовском я увидел вышку для прыжков метров восьми. Мне было за пятьдесят, и я не прыгал лет тридцать. И тем не менее, я полез на вышку, По реакции пляжной публики стало ясно, что здесь никто никогда не прыгал. Пляж заинтересовался, пляж напрягся. Сухопутный народ, люди без полёта. Вот мы севастопольцы сейчас покажем. Меня поразило, как далеко серая вода озера, но отступать было нельзя, на меня все смотрели. Как больно было наказано моё пожилое тяжелое тело шоковым ударом о воду. Вот тебе фанфарон! Но триумф был. Были аплодисменты. Ха! Вот он каков! А ну ка, стакан водки.

Однако вернемся в Севастополь. Идет Великая война и «…бой идет не ради славы, ради жизни на Земле» (А.Т.Твардовский).

В первых числах октября мать принесла свежепахнущие учебники арифметики и грамматики для первого класса и громко и как бы одновременно и восторженно и печально сказала: «Ну, вот мы и в блокаде!». Такое слово мне было неведомо. Я, конечно, ничего не понял. Все многозначительно закивали головами, но, думаю, тоже не определились, что же все-таки произошло, так как

опыта блокад ни у кого не было. Слово было новое, какое-то круглое на звук, ничего не объясняющее нам недоуменным человечкам. Вскоре слово «блокада» сменило слово «осада». Мы стали жителями осажденного города (прямо средневековье).

Немцы уже были в Симферополе. Доходили страшные слухи о зверствах и расстрелах. Наконец, на карте Крыма мы увидели, что на всем полуострове немцы. Мы – это только крохотный кусочек земли вокруг Севастополя и Балаклавы.

Участились бомбежки, начались регулярные артиллерийские и минометные обстрелы города. Ближе к зиме, в периоды очередных немецких наступлений я мог видеть в мамин театральный бинокль бои на Северной стороне. Черные яростные разрывы шрапнельных снарядов, как чернильные кляксы, почти у самой земли, все небо, усеянное белыми клубочками от зениток. Пикирующие «Юнкерсы-109», трагичные воздушные бои. Кажется, даже удавалось увидеть передвигающуюся бронетехнику и стреляющие орудия. Взрывы на земле были видны отчетливо. Тогда удивило, что сначала был виден разрыв, а звук от него достигал ушей через несколько секунд. Законы физики в действии.

Однажды я отважился пойти с мамой к дальним родственникам на Большую Морскую. Их дом на улице Батумской развалился от центрального попадания бомбы. Руины его равномерно лежали вокруг глубочайшей воронки, на дне воронки – остатки мебели. К счастью, в это время в доме никого не было. В семье были два младенца, и поэтому пострадавшим выделили для временного проживания зал пустого полуразрушенного магазина на Большой Морской. Меня поразила громадная стеклянная витрина, от пола до потолка, наверное, метра 4 высотой. Значительная часть города уже была разрушена, поэтому широкому обзору ничего не мешало. Я видел холм с моей родной улицей Подгорной. Садилось солнце, и за темной кромкой холма простиралось огромное розово-красное небо заката. На этом фоне маленькие черные самолеты стремительно перемещались в пределах черной рамы витрины, пикировали, гонялись друг за другом, некоторые кратко вспыхивали и падали. Взрывы на земле не были видны, но можно было угадать их беспредельное число, так как во весь горизонт стелилась темная грязно-серая полоса. Увиденное почти 70 лет назад осталось в памяти такой же яркой картиной близкого смертельного боя, обрамленной черной рамой витрины.

В своем повествовании я не в состоянии придерживаться хронологической последовательности событий. Как тогда, в детстве, так и сейчас, за давностью лет все, что я видел,

воспринимается единым блоком. В какой последовательности в голову приходит воспоминание о каком-либо событии, так я о нем и пишу. Конечно же, по мере сил стараюсь соблюдать приблизительную временную однородность.

Вот, например. Всем жителям города выдали противогазы. Когда это было? Пожалуй, в начале блокады, когда еще поддерживался муниципальный порядок, еще не все ушли на фронт. Мне достался хорошенький, густо пахнущий резиной противогаз, в новой сумке защитного цвета. В первые дни я постоянно носил его через плечо, сам быстро надевал, протирал запотевающие стекла глазниц тонкой резиновой «пипкой», торчащей снаружи в виде маленького хоботка, как у слоника. В это образование вставлялся палец, он вворачивался внутрь, и можно было не только протереть стекло изнутри, но и почесать нос или близко расположенную часть лица, не нарушая герметичность аппарата. Но пребывать в противогазе более трех минут я не мог – становилось трудно дышать. Слабенькие детские мышцы грудной клетки быстро уставали от протягивания воздуха через гофрированную трубку и мощные слои фильтров в зеленной блестящей коробке приличных размеров. Вообще же, за неделю близкого общения игрушка надоела и постепенно забылась. В оккупацию резиновое изделие пошло на отличные рогатки для стрельбы в сторону птиц или просто «в никуда».

Перед войной подростки и юноши улицы Подгорной вечерами собирались возле подъезда «Дома Дико». Все они учились в одной школе, которая располагалась ниже на улице Артиллерийской. Многим из них предстояло через год идти в армию. Мальчишки тайком курили, но вели себя довольно прилично. Разговаривали на нормальном русском языке. Я не слышал от них матерных слов и блатного жаргона. Верховодил там мой двоюродный брат Валентин Мухин по кличке «Каторжанин», прозванный так за то, что был острижен под ноль, ему должно было исполниться 16 лет. В годы войны он окончил Высшее военно-морское училище и в мирные дни был самым молодым командиром подводной лодки на Северном флоте. Среди них был тихий и умный еврейский мальчик Боря, щуплый и чернявый. Он жил в этом злосчастном доме и чудом остался живым после взрыва. Вскоре после начала осады города его призвали, он попал в разведку, о чем писал в письме брату. Здесь же под Севастополем он был убит. Мой брат тяжело перенес известие об его гибели. Помню, сутки пролежал, не вставая, на диване, уткнувшись лицом в подушку. Другой известный мне паренёк из этой компании, Коля Могила, тоже был призван и когда пришел к нам прощаться, то моя тетя разрешила ему и

брату, как взрослым, выпить водки. Когда он уходил, я играл на улице. Подозвав меня, он подхватил под мышки, высоко поднял над головой и поцеловал. В это время я увидел слезы у него в глазах. Потом, опустив меня, сказал: «Ну, Жорка, живи долго!». Их всех можно было понять, ребята уходили на верную смерть. Коля остался жив и спустя долгие годы приходил к брату в чине капитана пограничных войск.

5. Хлеб наш насущный

Когда исчезли продукты, да и сами магазины, точно не помню. В первый месяц блокады все полки магазинов были заставлены синими консервными коробками с крабами «Снатка». Больше ничего. Пусто. Скоро и этого не стало. Вспоминается, что в годы застоя достать к празднику этот деликатес означало на порядок повысить праздничность, значительность стола и хозяев. Вот когда вспоминались эти полки магазинов. Неужели такое могло быть?

Основная пищевая поддержка шла за счет того, что отец, не годный по здоровью к военной службе, был оставлен в мастерских, которые обслуживали непосредственно фронтовую технику. Ну а остальное – это все то, что могли достать все члены семьи в бесконечных очередях за всем, что можно употребить в пищу. Например, за географическими картами, так как клейстер, соединявший бумагу с марлевой подложкой можно отделить с помощью воды, а дальше делай, что хочешь: ешь так, пеки оладьи на рыбьем жире, делай затирушку для супа.

Помню, в январе тётя Татьяна пришла с базара и сообщила, что в продаже только бочковые огурцы, а за ними несусветная очередь. Но и огурцы закончились. Тогда смеялись: немецкая листовка сообщала позже, что жители города питаются только солеными огурцами. А их-то уж и не было. Пропаганда опоздала! Кстати немецких листовок было много. Размером с тетрадный лист, на тонкой бумаге голубоватого или желтого цвета. Большинство начинались крупными буквами с призыва: «Штык в землю!», они призывали бить комиссаров и жидов и переходить на сторону немецкой армии. Далее в ней объяснялось, как сдаваться, используя эту бумажку как пропуск. Были листовки с карикатурами на наших вождей. Запомнилась листовка, где во весь лист изображалась голова человека, тонкая шея которого была сдавлена со всех сторон лучами шестиконечной звезды.

Под нами, улицей ниже, находилась мукомольная мельница. В неё попало сразу несколько зажигалок. Мельница давно не работала – не было электричества. Какие-то остатки зерна внутри еще были. Среди набежавшей толпы, и это под постоянным обстрелом, нашим женщинам удалось наскрести среди пыли какое-то количество полусгоревшего ячменя. Зерно потом провеяли и мололи на старой ручной кофемолке. Дело это было долгое и очень нудное. Поочередно мололи все члены семьи. Мне это по причине физической слабости от недоедания давалось особенно трудно. Вкус лепешек с едким запахом дыма и с горечью

золы могу припомнить и сейчас.

Однажды средь бела дня ворвалась взволнованная соседка с известием: «Над нами, в степи, только что убило снарядом лошадь!». Стремительный рывок и нам что-то достается. За многие месяцы в доме пахнет мясной пищей. Мне не удается разжевать ни одного кусочка мяса, такое оно жесткое. С котлетами проще, но специфический запах конины не по нраву генетическому европейцу. Эпопея с поеданием этого продукта стерлась из памяти. Люди окраин города бедствовали не так сильно – выручало подсобное хозяйство.

Запомнился странный случай. Одна из моих многочисленных тетушек работала в торговом управлении города. Звали её тетя Надя. Недавно было отбито очередное наступление немцев, наступило кратковременное затишье. И вот эта тетя приводит к нам (почему-то не к себе домой) трех мужчин в военной форме, но не военных. Все немного подвыпившие. Мужики лет по 30–40. Очень быстро накрывается стол, и появляется такая еда, от которой кружится голова, течет слюна. Всего этого мы не видели несколько месяцев. Да и до войны не очень часто. Здесь разные колбасы и сыр, масло и яйца, большая копченая рыба с потрясающим запахом. Уже на сале жарится картофель, а на столе быстро сменяя друг друга, булькают бутылки водки с сургучной пробкой, которую лихо ладонью дядьки выбивают за один раз. Пьют быстро и много. Хорошо жрут. Из разговоров удается понять, что они снабженцы, бывшие сотрудники горторга. Еще, что они только что вышли из окружения. Самый старший из них, типа вожака, достает из кобуры милицейский наган и, потрясая им, сообщает, что видел немцев близко в лицо и стрелял в них. Они пьяны, наглы, рисуются героями и храбрецами, но что-то их беспокоит, что-то тревожит, не чувствуется завершающей уверенности. Начал крепнуть мат, и тетка Татьяна, моя крестная мать, вывезла мена на санях на улицу в тающий и смешанный с землей снег. Сани не ехали. Было сравнительно тихо. Бабахало иногда на Северной стороне. Видно, немцам дали хорошо и отогнали прилично подальше. Вышла мама. Вокруг было сыро, слегка капало. Был виден весь полуразрушенный родной мой город, местами дымки тлеющих пожаров. Давили низкие облака. За Северной стороной небо было фиолетовым с дальними электрическими сполохами. Был слышан почти ровный гул дальнего боя.

Бабушка в наше отсутствие собрала все со стола и вместе с узлами выставила всю компанию в направлении неопределенном, но ясном. Мы вернулись в хату. Что это были за люди? Что они здесь делали, когда все мужчины Севастополя на войне? Не мог я

представить, кто же может в такое лихолетье так себя вести. В воспоминаниях позже подумалось, так это же были дезертиры!

По левому боку нашего дома стоял каменный, окнами на улицу, дом, повыше и побольше нашей глиняной мазанки, стало быть, Подгорная № 18. Хозяйками дома были две пожилые сестрички, очень тихие, очень скромные, интеллигентные (возможно, из «бывших»). Я бывал у них во внутренней комнате несколько раз, по приглашению подобрать книжку для чтения. Поразило то, что стен у комнаты (в обычном представлении) не было. Вместо стен – от пола до потолка стояли полированные, застекленные шкафы с рядами книг в невиданных обложках, тесненных золотом. Свободными от шкафов были только маленькое окошко и такая же узкая одностворчатая дверка. У них были годичные подшивки старых дореволюционных журналов, некоторые из них сестры давали почитать брату Валентину. Кажется, я уже тогда знал, что журналы эти запрещенные, а читать их преступно. Очень надолго остался у нас громадный блок подшивки журнала «Русская иллюстрация». Почему, станет ясно дальше. Какие там были литографические рисунки во всю страницу! Фото с полей Первой мировой войны. Портреты царствующих особ и их челяди. Замечательные иллюстрации к литературным произведениям, которые там печатались, и которые я взахлеб читал, иногда ни черта не понимая. Там на толстой глянцевой бумаге, которой я никогда не видел, вершились события неведомой мне жизни, такой красивой, такой светлой и материально достаточной. Рассматривание картинок притупляло чувство голода.

Так вот, эти милые женщины сдавали большую комнату своего дома, с тремя окнами на улицу, чете Толобовых. Сам Толобов военный водолаз был, вероятно, известным на флоте человеком, жена его Сара – подруга моей тети Тани, сын Алик, в последующем военно-морской офицер. Они рано эвакуировались, все остались живы и жили долго.

Плата за квартиру была единственной материальной поддержкой сестер. Когда жильцы эвакуировались, этот источник доходов исчез. Вероятно, сестры первое время перебивались продажей или обменом вещей. Книги были никому не нужны. Это понятно.

Бабушка, зайдя к ним по соседским делам, увидела, что бедные сестрички варят суп из мелких черных зернышек, семян паутели, (дети называют их цветки грамофончиками), которая летом вилась по стенам двора. На керогазе варилось в черной, как тушь, воде это подобие пищи из семейства бобовых. Бабушка попробовала и посоветовала вылить. Истинно православный

человек, моя дорогая бабушка, Мария Васильевна, конечно же, чем-то съедобным поделилась с ними и, сдается мне, что и в дальнейшем поддерживала их чем могла. Прямое попадание, судя по воронке, тонной бомбы, разнесло домик в прах. Гибель несчастных была мгновенной. Громадная груда земли стала их могилой. Это случилось в те времена, когда уже никакие спасательные и поисковые работы не велись. У нас снесло сарай и проломило стену в первую комнату. Дом, который располагался левее, завалило веером от воронки. Там уже никто не жил. Очень жаль ни имен, ни фамилии погибших я не знал. Царствие им небесное!

Вот вспомнил, что на дне воронки оставался стоять, засыпанный по самый руль отцовский мотоцикл «Триумф». Он не был сдан по приказу, изданному в начале войны, гласившему, что необходимо сдавать все транспортные средства, в том числе велосипеды, приемники, пишущие машинки, и много чего другого. Неподчинение грозило большими неприятностями. Помню, с каким сожалением брат Валентин отвел и сдал свой новый велосипед харьковского завода, получив квитанцию, что все будет возвращено после войны. Его отец сдал мотоцикл «Октябренок». Мама отнесла приемник «СИ-235», моего доброго друга, рассказавшего мне много хороших сказок Андерсена и Братьев Гримм. Конечно, ничего к нам не вернулось никогда. Свой мотоцикл папа не мог доставить, так как у него не было половины механических частей. Так он его и бросил посреди чужого двора. Он сгнил на дне воронки. Подшивку же журнала «Русская Иллюстрация» вернуть уж было некому, и он остался у нас на долгие годы.

На краю воронки валялся аккуратный шкаф, внутри которого, среди старых флаконов и пудрениц я увидел незатейливые глиняные фигурки людей, очень маленьких размеров. Я собрал их в кучу и принес показать маме, желая ими завладеть. Довольно сурово мать приказала отнести все туда, где взял и никогда не брать чужого. Юный мародер был посрамлен. В дальнейшем, я точно помню, моя семья во все времена добывала все своим трудом, никогда не прельщаясь тем, что плохо лежит. Вот, что значит севастопольская закваска. Был ли я в своей жизни их последователем? Думаю, что жизнь людей моего круга шла дальше по другому пути, мы мельчали, искали и находили компромиссы своим неблаговидным поступкам. Сдается мне, что все изрядно преуспели во многих делишках. Теперь результат стараний многих поколений налицо. Исполнение десяти заповедей почти исключено новым постиндустриальным обществом.

6. Борьба за огонь

Спички исчезли очень скоро. Не смотря на то, что вокруг не иссякал огонь войны, в быту даже прикурить или зажечь примус составляло проблему. Институт зажигалок как признак буржуазности перед войной был изведен окончательно. Выручило старинное средство, называвшееся когда-то огнивом, у нас же бытовало название «Кресало». Суть прибора состояла в том, что из гранитного кремня стальной железякой (очень хорош кусок старого напильника) быстрым ударом по касательной высекался пучок искр. Следовало к кремню приложить «распатланный» конец льняного каната, так чтобы искры попадали на него. Как только канат начинал тлеть, следовало нежно раздувать тление, до появления маленького лепестка огня. Теперь самое главное не потерять достигнутое, перевести огонек в пламя. Все описанное требовало опыта и сноровки.

Мой отец, мастер на все руки, человек изобретательного ума, взял магнето от разбитого автомобиля, оснастил его ручкой для вращения якоря. На корпус магнето кладется ватка, смоченная бензином. Один оборот якоря магнето, и между концом провода и корпусом проскакивает искра, ватка с бензином мгновенно воспламеняется. Класс!

Теперь об освещении. Электрический свет появлялся все реже. Кажется, последний раз он был на Новый, 1942 год. Даже на маленькой елочке, устроенной для меня, горели лампочки. Но в 00.30 начался минометный обстрел нашего района, и электрический свет исчез из нашей жизни на несколько лет. Освещались свечами и керосиновыми лампами, пока не исчезли продукты горения. Пришла пора коптилок на солярке. В гильзу из-под снаряда вставлялся фитиль, и край гильзы сплющивался. Вот и вся нехитрая.

Папа к гильзе от 45 миллиметрового снаряда выточил подставку для устойчивости, а сверху, накручивающуюся головку с ажурными прижимами для лампового стекла. Имелся винтовой регулятор высоты подъема фитиля. Ламповое стекло изготавливалось из прозрачной бутылки – чекушки из-под водки. Дно бутылки обрезалось хитроумным способом. Место отсечения днища бутылки перевязывалось ниткой, смоченной в бензине. Нитка поджигалась, и бутылка погружалась в холодную воду, где стекло лопалось на уровне нити. Удавался этот фокус далеко не всегда. Светильник этот прошел с нами через дни осады и оккупации. Теперь в каждый праздник 9-го мая мы ставим его на праздничный стол и зажигаем в память о минувшем.

Потом в наш быт вошло новшество, принесенное немецкой армией, – карбидная лампа. Её синеватый, как электрический разряд, свет, был значительно ярче желтого света керосинок. В период оккупации мы пользовались только карбидками. Устройство нехитрое. Лампа состояла из двух герметично соединяемых круглых банок. В нижнюю банку закладывались куски мелко разбитого сухого карбида. Верхняя банка навинчивалась на нижнюю. В неё заливалась вода. Снаружи этой банки располагался маховичок, которым регулировалась частота капель воды, поступающих в банку с карбидом, и трубка с точечным отверстием на рабочем конце для выхода газа (сероводород). Газ поджигался, издавая характерный хлопок, и появлялся яркий лепесток пламени. Запах газа, сопровождавший горение был довольно неприятным, но мы быстро привыкли. На мне лежала обязанность утром очищать лампу от распавшегося карбида, высушивать и заправлять новыми порциями вонючего камня и водой. Иногда лампу распирало слишком большим количеством газа, и она взрывалась. Кроме разбрызганной грязи, других последствий не наблюдалось.

Огонь для освещения был, несомненно, нужен, но он был нужен и в очаге. Приготовить пищу, нагреть воды для купания, согреть комнаты зимой. Керосина для примуса не раздобыть. Уголь? Откуда ему взяться. Осталось единственное – дрова. Уж этого-то продукта было предостаточно на сплошных развалинах города. Сначала тащили доски и остатки мебели с ближайших мест, затем все дальше из нежилой части центра города в основном то, что лежало на поверхности. Потом добывать дрова стало трудней. Приходилось их освобождать из груды камней, всё глубже и глубже. Сдается, к возвращению наших растащили и пожгли всё. Но через месяц-два появился керосин в продаже, в специальных будках, а работающим стали выдавать уголь.

7. Опять пещеры

В одно из немецких наступлений на Севастополь, ближе к весне, бомбардировки стали такими интенсивными, а снаряды и мины падали так близко, что отец приказал матери вместе со мной и двоюродным братом Валентином перебраться в пещеры, которые располагались недалеко от его мастерских. Пещеры большие, в далеком степном овраге. Бомбы там не падают, снаряды не долетают. Дескать, и ему так спокойней за нас, так как есть возможность в любой момент прибежать к нам на выручку, да и нам безопасней. Кроме того, отпадала необходимость пробираться через весь город домой под постоянным обстрелом. С Северной стороны немцы контролировали каждый метр. К этому времени мать была уже на пятом месяце беременности. Это также, вероятно, послужило причиной нашего переселения.

День нашего перехода выдался наиболее страшным. С утра в Южной бухте горел крейсер «Червона Украина». Широкая струя черного дыма тянулась через всю южную часть небосвода. На фоне черного неба, туда, в основание этого дыма, падали и падали обморочно белые пикировщики. Последние дни немцы стали применять самолеты со специальными сиренами в плоскостях, которые при пике издавали непередаваемый ужасный вой. Кроме того, на город сбрасывали рельсы, тележные колеса, протяжный свист которых завершался ощутимым тупым толчком в землю.

За городом возле итальянского кладбища, на повороте дороги, что когда-то была Балаклавским шоссе, нас встретил отец – худой, бледный, с недельной щетиной, в промасленной до блеска черной спецовке. И тут как по заказу, на это «тихое» место начался такой бомбовой налет, какого мы еще не испытывали. Страх усилился во сто крат – над головой не было привычного потолка спасительного подвала. Над нами безразличное ярко-синее, с черным хвостом дыма, небо; солнце в зените, отчего белый известняк слепит глаза. Полная открытость и беззащитность. Спустя много лет в Третьяковке я увидел картину «Голгофа» художника Ге. Прошлое вошло в меня: на картине был тот же безжалостный, бесчеловечный каменистый пейзаж и белые кресты.

Мой спутник, интеллигентный доктор Лойге из Риги, спросил у меня: «Георгий, почему он так страшно смотрит?». Он имел в виду искаженное страхом лицо разбойника на втором плане холста. Наверное, такие лица были у нас в те минуты. Что мог я

ответить моему коллеге, не видавшему войны?

После минутного оцепенения мы побежали к одинокому двухэтажному дому. Скорей! В подвал! Подвал оказался сараем под полом нижнего этажа дома, закрывавшимся дверкой из тонких досточек. От близких взрывов сарайчик раскачивало как лодочку. В воздух поднялась угольная пыль. В дверные щели с каждым взрывом врывались острые молнии яркого света. Смерть постояла рядом и отступила на время. От домика до пещер по открытому ровному полю оставалось около километра. Мы бежали, опасаясь повторения налета, и тут на середине пути, на бреющем полете нас настиг «Мессер». Я отчетливо увидел желтые окрылки и кресты. Кажется, он пустил пулеметную очередь, характерный звук достиг моих ушей. Стрелял ли он в нашу сторону? В широком поле мы были одни. Валька кричал: «Ложись!», а сам продолжал бежать.

Страшный дом, с желтой облупившейся штукатуркой, какой-то не нужный посреди степи, остался в памяти олицетворением абсурда, сопровождающегося ощущением тянущей пустоты в животе. Сарай под этим домом, где был пережит такой страшный страх, я пытался изобразить в черных тонах, приемами гравюры и в символической манере с помощью фотошопа. Ничего не получилось. А вот тому, кто побывает в Феодосии, в музее А.Грина, рекомендую отыскать гравюру художницы Толстой под названием «Борьба со смертью». Вот где все в точку! Талантливо!

Мы выбрали пустую обширную пещеру. Но одиночество наше длилось недолго.

Вскоре во всех углах и альковах поселился разномастный люд с множеством детей, с постелями, примусами, кастрюлями и горшками. Потянулись однообразные скучные дни.

Правда, война осталась над городом. Здесь в степи больше бомбежек не было. Ночью мы выползали из пещер и смотрели войну. Сеть прожекторов, далекие всполохи дальнобойных орудий, извивающиеся дорожки трассирующих пуль.

Постепенно интенсивность близких боев стихла. Немцев опять отогнали. Мы вернулись домой на улицу Подгорную. Было не привычно тихо, шел мелкий грибной дождичек. Дышалось легко и радостно. Но стоял стойкий запах обгорелого дерева. Город лежал в руинах. Страха не было. Надолго ли?

8. В осажденном городе

Смерть людей становилась обыденностью. Страх собственной смерти притуплялся. Так пишут в книжках о войне, которые я прочел потом через десятилетия. На основании своего маленького детского опыта затрудняюсь подтвердить или опровергнуть это. Прямым попаданием бомбы в укрытие в виде щели прямо во дворе убило родную сестру и племянницу вместе с их с детьми, моего дяди Васи Мухина. Неподдельная скорбь всех нас, еще живущих. Вопли, стоны, плач. Недоумение внезапной утраты. Как же так, ведь только что все были вместе. Вот на столе их чашки с недопитым молоком. Зачем побежали в эту проклятую щель? Остались бы дома, были бы живы.

Всеобщее горе по поводу гибели теплохода «Армения». Он был до отказа забит ранеными, на флагштоке нес флаг «Красного креста», там были эвакуируемые женщины и дети, там было более трехсот медиков. В тихий, солнечный день у благодатных берегов Крыма фашистские молодцы весело, играючи погасили жизни стольких беззащитных людей.

Наш глиняный домик постепенно разваливается. Прямого попадания не случилось. Правда, однажды брат Валентин случайно обнаружил у порога сарая, который вплотную примыкал к жилой части, врывшийся в землю снаряд, разумеется, не разорвавшийся. Был вызван сапер, который извлек его, обкопав вокруг. Потом на мешковине он и его напарник отнесли снаряд в машину и увезли. Если бы он взорвался, от дома ничего бы не осталось.

Воронки от бомб и снарядов венчиком окружали наш дом. На уступе террасы над нашим домом располагались рядом цыганский и татарский дома. Помню, перед войной там однажды слышалась специфическая музыка, брат сказал, что там будет обрезание. Пояснений он не дал, наверное, и сам не знал, что это такое. Проходя мимо, в проеме открытой калитки, я мельком увидел множество людей в белых рубашках и мальчика, закутанного в простынь, которому стригли голову. Звучала однообразная струнная музыка.

Периодически над стеной, нависавшей над нашим двором, появлялась старая цыганка с большой кривой трубкой и серьгой в одном ухе – жительница одного их упомянутых домов. Она постоянно жаловалась на бомбежки моей бабушке и всегда начинала со слов: «Суседка, мамочка». Не знаю, кто остался жив или погиб в этих домах, но вся улица ближе к концу осады представляла собой искореженный ров. Примерно так же

выглядела и моя родная улица. Абсолютно целых домов не осталось. У нашего дома косо опустилась крыша: один край касался пола, другой держался за верх оставшейся стены. В образовавшемся треугольном проходе можно было проходить, взрослым, слегка пригнувшись.

Когда немцы основательно укрепились на Северной стороне, весь город открылся им как на ладони. Наверно поэтому участились минометные обстрелы. Близко, все видно, не нужен корректировщик. Долгий выматывающий душу вой мины и короткий сухой, и злой разрыв. В плотной севастопольской земле мины оставляли след своей ярости в виде поверхностных плоских воронок, закрученных по спирали. Однажды я попал! На западной окраине Севастополя, в Туровской слободе, жила бабушкина родня по мужу. Так вот её непременно нужно было посетить. Конечно! Всенепременнейше! Надо узнать, все ли живы, и сообщить, что у нас, слава Богу, все живы. Время как раз для загородных прогулок! С собой бабушка великодушно взяла меня. На пути у нас, в Стрелецкой балке, лежал Херсонесский мост. Откуда нам было знать, что под сводом моста располагался штаб генерала Петрова, и весь участок шоссе над ним пристрелян? Как только в этом районе наблюдалось какое-нибудь движение, немцы начинали минометный обстрел. Только мы появились на расстоянии в метрах ста от моста, как земля над мостом закипела от разрывов. Я заорал, что надо домой, что бабушка дура и ничего не понимает. Бедная бабушка! Она повернула, отвела трусливого внука домой в подвал, а сама повторила прерванный путь, дошла до своей родни, поговорила вдоволь и благополучно вернулась. Безрассудство, отвага, чувство долга. Что это? «Безумству храбрых поем мы песню!».

В период осады города информацию о состоянии дел на фронтах войны мы получали из газет «Красный Крым», «Маяк коммуны», «Красный флот». Больше всего нас волновали известия о боях на подступах к Севастополю. Мы радовались победам, когда отбивалось очередное наступление немцев. Гордились подвигами красноармейцев и краснофлотцев. Мы знали о подвиге пяти моряков, остановивших своими телами колонну танков, слышали о подвиге комсомольцев, защитников дзота № 11. Всех не перечислишь – героем был каждый.

Запомнилась большая статья, не помню названия газеты, Ильи Эренбурга, обращённая к севастопольцам. Он восторженно писал, что о каждом жителе будут помнить и чтить память о погибших и славить живых. Не оправдались слова публициста. Юный хам за рулем автобуса, презрительно глядя на «Удостоверение жителя осажденного города», каркает: «Здесь это

не хляет! Куда ты прешь, дед? Сколько вас еще осталось?»

9. Мои родные – защитники Севастополя

Мой отец, Задорожников Константин Михайлович, 1906 года рождения. Белобилетник. Не годен к военной службе во время войны. Ревматоидный порок сердца. Тугоухость. Специальности: токарь, слесарь, механик по всем видам автомобилей, шофер, мастер на все руки. Он мог, положив руку на капот автомобиля, определить какой клапан стучит, где дефект двигателя. Отец был забронирован за авторемонтными мастерскими Черноморского флота. Мастерские эти располагались сразу перед линией фронта между Балаклавой и Севастополем, примерно там, где теперь бензозаправка на ул. Кожанова. Практически это была передовая линия фронта. Под постоянными бомбежками и артобстрелом (в ближайшем окружении никаких укрытий) несколько работяг выполняли совсем не героическую, но такую нужную работу. Провожая его утром, мы не знали, вернется ли он вечером. Да и о себе мы не знали, застанет ли он, вернувшись нас живыми. В мастерских чинили грузовики, бронетехнику, танки, ходовую часть орудий. Иногда отец не появлялся дома по несколько суток. Командиры боевых подразделений, экипажи машин порой со слезами на глазах умоляли ускорить ремонт. И рабочие ребята старались, действительно, не за страх, а за совесть.

Отец дважды был представлен к правительственным наградам: медали «За отвагу» и ордену «Боевого красного знамени». Представления к награде писались карандашом, прямо на полевой сумке и в эту же сумку отправлялись. Перекинув ее через плечо, молоденький командир уходил туда к линии фронта, к окопам, не зная, что уходит в вечность и безвестность. Потом отец не проявил никакого желания искать документы, подтверждающие его пребывание в пекле войны, его наградные листы. Да и время наступило такое, что призабыли о Победе, о победителях и о наградах. Внешне отец ни чем не проявлял обиды на обстоятельства. Но помнится, значительно позже, ему выдали значок «Участник боевых действий» и носил он его с удовольствием. После войны он славно трудился. Создал на нервах отличные авторемонтные мастерские ЧФ. Являлся бессменным начальником этих мастерских долгие годы. Уважение и авторитет были на самой высокой планке. Ежегодно ко всем праздникам отмечался грамотами, значками. Но ордена и медали обходили его. Думаю потому, что мы (не по своей вине) были в оккупации (хотя немцам отец не служил), а еще, наверное, потому, что на настойчивые предложения вступить в партию, отец отвечал отказом. Он любил отвечать: «Я беспартийный

большевик».

Мама и ее родная сестра Татьяна с первых дней осады были мобилизованы на рытье окопов, траншей, противотанковых рвов. Они отработали положенное честно, безотлучно. Близко к концу работ мама серьезно повредила ногу. Была вынуждена передвигаться с костылем. На этот период ее заменил брат Валентин, сын тети Тани. Там же на полевых работах он записался в истребительный батальон и проходил соответствующее обучение.

С наступлением зимы мама и тетя Таня целыми днями строчили из брезента на швейной машинке подсумки для саперных лопаток, патронташи. Все это сдавалось ежедневно на специальный пункт сбора. Пару раз относить мешок с этой продукцией, под непрекращающимся артобстрелом города, доставалось мне. Я был, смел, потому что снаряды падали очень далеко. А вот однажды мама попросила меня отнести мешок с сшитой продукцией, не смотря на то, что обстрел шел по всем кварталам. Мама была тяжела беременностью, а пройти нужно было всего через несколько домов на нашей же улице. Поэтому и посылали. Поэтому и не страшно. Предупредили: «Когда зайдешь – сними фуражку и поздоровайся».

Каменные ступени, массивная дверь резного дерева. Я подергал за шнур механического звонка. Дверь открыла женщина в черном, свободно свисающем от головы до пола одеянии. На меня пахнуло теплом от множества горящих свечей и запахом ладана (что это запах ладана я узнал потом). Все стены большой комнаты, начинавшейся сразу за входной дверью, были увешаны иконами разных размеров, плотно одна к одной. В комнате стоял желто-золотистый свет. Конечно же, я снял фуражку, конечно же, поздоровался. Монахиня, иконы, свечи – все это предстало передо мной впервые в жизни. Из широких рукавов вынырнули тонкие длинные руки, в одной – женщина держала бусы (четки), другой – приняла мой узелок. Улыбнулась. Сказала: «Спасибо». Я повернулся и вышел. Бабушка рассказала мне, что это монашенки хранят иконы со всех севастопольских церквей. Когда исчез от взрыва этот дом? Что стало с монахиней и иконами, мне не известно.

Мама и её родная сестра, а моя тетя Татьяна, брат Валентин за самоотверженный труд во время осады города были награждены медалями «За оборону Севастополя». Очень, очень обидно за отца, так мужественно и стойко участвовавшего в войне, так самоотверженно восстанавливавшего такой важный тогда объект – Автобазу Черноморского флота. Заслуженные награды обошли его. Что-то, видно, у нас не так по судьбе.

«Победитель не получает ничего» – раздел мужественной мужской прозы Э. Хемингуэя. Не зря любимый писатель выбрал такое заглавие. Что-то он ведал.

10. Последняя эвакуация

Муж моей тети Татьяны был эвакуирован вместе с мастерскими плавсостава в город Поти в первые месяцы войны. Он постоянно звал к себе свою семью. Но они все не решались уезжать. Сдерживал их страх перед неизвестностью условий жизни на новом месте, страх самого путешествия (караваны кораблей уже подвергались бомбежкам и торпедным атакам подводных лодок), да и теплилась надежда, что скоро прогонят врага и заживем по-старому.

Что касается нашей семьи, то мама эвакуироваться категорически не хотела. Она не могла оставить отца, которого не отпускали с работы, она боялась за меня, потому что я был патологически труслив, предчувствовала возможность нервного срыва, считала себя не мобильной из-за беременности. Мне приходилось слышать, как мама говорила: «Ну что же, что будет, то будет. Если погибать, то всем вместе». Бабушка, человек мужественный и смелый, сказала: «Я остаюсь с Клавой, у нее дети».

И вот уезжают наши дорогие и близкие люди, моя тетя и брат. Сроки на сборы минимальные. В оцинкованное корыто увязаны самые необходимые вещи, и еще что-то уложено в один старый чемодан. Сестры обнимаются и плачут. Возможно, что расстаемся навсегда. Валентин суров и мужествен. Севастополь горит, пожаров уже не тушат, единичные взрывы снарядов. Вечер душный. По небу летают крупные куски сажи, а вот птиц нет. Вижу как вдали, в перспективе улицы, Валентин тащит на спине неудобное корыто, от тяжести груза его качает. Последний взмах рукой, и они исчезают, спускаясь под горку на Артиллерийскую улицу.

Лидер «Ташкент» забирает раненых и решивших уехать, собираясь уж в который раз совершить свой опасный рейс. Никто не знает, что рейс его будет последним. Посередине родного Черного моря, он будет неоднократно атакован немецкими самолетами и начнет тонуть. С залитой водой палубы, под обстрелом и бомбежкой, в бешеном темпе люди и вещи перегружаются на подоспевшие эсминцы. Корабли ни на минуту не прекращают оборонительную стрельбу. «Ташкент» дотащится до берегов. Эсминцы доставят наших родных в Батуми. Обо всем этом мы узнаем только через два года.

11. Последние дни

Приходит жаркий и душный июнь. Город весь в руинах, людей нигде не видно, но немцы продолжают обстрелы и бомбежки. На дне воронок догорают останки деревянных перекрытий, от них в стоячем воздухе запах дыма и застарелой гари. В небе вместо птиц витают пластинки сажи. Удивительно, в это время в прошлом году над стеной нашей террасы мотались быстрые стрижи и ласточки, в отверстиях между камнями были их гнезда. Теперь: «Здесь птицы не поют, деревья не растут».

Электричества давно нет. Исчезла вода. Для технических нужд за водой ходят к морю. Пытаются ее кипятить, фильтровать, чтобы использовать для питья. Из этого ничего не выходит. У воды остается мерзкий тошнотворный привкус. Где-то находят старые колодцы. Это далеко. Бабушка носит воду в ведрах на коромысле. У других людей тоже появляются эти забытые приспособления. Где хранились, как сохранились?

С нами всю осаду жил беспородный пес по клички «Джек», ласковый и смышленый. Он интересно подвывал под духовую трубу, то ли фанфару, то ли большой горн, доставшийся мне от отступавшего военного оркестра (трубу принес отец). Он мог «петь» без устали, пока у меня хватало сил дудеть. У пса была своя деревянная будка, в которую он прятался, когда начинало взрываться вблизи. В подвал его затащить было невозможно.

В один из жестоких налетов на береговую батарею, которая была недалеко от нас, изрядно перепало и нам, часть бомб упала в опасной близости от дома, ещё больше корежа старые воронки и развалины соседних домов. Когда все кончилось, я вышел во двор, и первое что увидел – будка Джека была сдвинута взрывной волной отверстием лаза вплотную к стене дома и привалена камнями. Я бросился спасать друга. Когда удалось освободить лаз, пес выполз из конуры, но даже стоять не мог, его валило на бок. Восстановился он быстро, но ходил, шатаясь, как пьяный. Никаких повреждений на нем я не нашел. Его контузило. В подтверждение правильности моего первого диагноза, у него пропал голос. Я стал дуть в трубу, а Джек, как обычно, задрав голову кверху и приоткрыв пасть, старался мне подпевать. Но из пасти вырывалось только жалкое еле слышное сипение. Правда, к утру следующего дня он был в полном порядке. В оккупацию он около месяца жил при нас, но так как в доме еды не было, он надолго исчезал добывать себе пропитание где-то на стороне. Скорей всего воровал. Потом исчез навсегда, бабушка выразила подозрение, что его убили немцы.

Кроме Джека, у меня была еще кошка Матрешка. Еще задолго до войны ее котенком бросили нам на крышу добрые дети. Вместе с нами она пережила осаду и оккупацию и еще 10 мирных лет и скончалась от старости. Вот у кого не было проблем с питанием. Крыс в развалках развелось много. Матрешка была искусстный охотник. Несмотря на свой небольшой рост, она валила здоровенных крыс и прежде чем их есть, всегда приносила к ногам бабушки. Она числила ее за главного человека, конечно же, та её кормила остатками еды. Вот она и приходила делиться. Получив нужную дозу похвал, одобрений и восхищения, принималась трапезничать. Она, как и Джек, избегала прятаться с нами в подвале. По окончании бомбежки появлялась как бы ниоткуда, садилась, и, не проявляя ни малейшего беспокойства, принималась себя вылизывать.

Накануне дня входа немцев в Севастополь с вечера началась массивная артподготовка. Совершенно не понятно зачем. Фронта уже не было. Город был пуст. Войска отступили к мысу Херсонес, к бухте Казачьей, к Маяку. Там была последняя надежда солдат на спасение. Но чуда не произошло. За ними не приплыл ни один транспорт. В тех местах, как мы узнали потом, произошла позорная трагедия истребления и пленения массы людей.

К середине ночи интенсивность обстрела возросла настолько, что невозможно было уловить промежутка между взрывами. Несмотря на то, что подвал беспрестанно трясло, я заснул. Наступило состояние запредельного торможения. Мама потом рассказала, что в самые страшные минуты я стал креститься, оставаясь в забытье. Она и спустя годы повторяла этот рассказ. Удивляло то, что в семье никто никогда не крестился, меня этому не учили, и видеть, как крестятся, я нигде не мог. Неужели сработала генетическая память о вере предков? Я хорошо помню крестик на шее прабабушки Екатерины. Немного зная о семейном предании и следуя логике вещей, уверен, что все предыдущие поколения рода были православными людьми. Теоретически можно предположить, что страх уже не мог восприниматься центральной нервной системой, кора головного мозга перешла в состояние анабиоза и высвободилась подкорка, или я впал в состояние транса. О мистическом трансцендентном происхождении случившегося не смею думать.

Вход в подвал засыпало землей и камнями, так что выйти самостоятельно мы не могли. На наше счастье житель нашей улицы, когда все стихло, совершил обход, чтоб выяснить остался ли кто живой. Он услышал голос бабушки, с призывами о помощи и освободил нас, поработав минут пятнадцать. Кто был этот добрый человек, к сожалению, не помню.

Я проснулся отдохнувшим и свежим, как после тяжелой болезни. Было тихое утро начала лета. Пыль и сажа осели, и воздух был «прозрачен и свеж, как поцелуй ребенка» – откуда-то я это украл. Краешек солнца появился из-за руин Владимирского собора. Лазурь неба сливалась в единое с водами рейда. Над железным скелетом купола здания Панорамы развивался красный флаг. Да вот только в центре полотнища, в белом круге, кривляясь, праздновал свою победу черный паук свастики. Я побежал сообщить матери, что у них тоже красный флаг. Наверное, безотчетно думая о том, что раз флаги одинакового цвета, то и все будет как прежде, все будет в порядке. Мама грустно улыбнулась, но и она не знала, что пришел НОВЫЙ ПОРЯДОК – DER ORTNUNG!

Глава III
Оккупация

Всем рабочим, работницам и служащим предприятий немедленно явиться на места своих прежних работ. Лица, не явившиеся на работу, будут рассматриваться как саботажники с применением к ним строжайших мер наказания: по условиям военного времени – расстрел..

Комендатура крепости Севастополь, 16 шюля 1942 г. Ортскомендант

1. Немцы пришли

В первый день начала оккупации мы не видели ни одного немца. На второй день примерно в 10 утра на нашей улице появились два немецких офицера. Шли спокойно, без тени настороженности, шли победители. Они подошли к соседнему с нами разрушенному дому, у которого сохранилась в целости калитка в стене двора и три цементные ступеньки перед ней. Из калитки появилась хозяйка дома Ольга Павловна и неожиданно бегло заговорила с офицерами на немецком языке. Вокруг постепенно собралась группка из нескольких оставшихся в живых обитателей улицы Подгорной. Ольга Павловна частично переводила смысл разговора. В основном говорилось о том, что не надо бояться, что все будет хорошо, обижать никого не будут, большевистская пропаганда все врала, теперь будет свобода и порядок.

Впервые я видел немцев, да еще так близко. Они были подчеркнуто чисты и опрятны: блестящие сапоги, выглаженная форма, белоснежные подворотнички… Обычные румяные молодые лица гладко выбриты. От них исходил запах одеколона и бриолина. Когда один из них поднял ногу на ступеньку, правый боковой карман брюк оттопырился, и показалась рукоятка пистолета, потом я узнал, что это офицерский «Вальтер».

Требуется пояснения о соседке Ольге Павловне и ее муже. Дом, в котором они жили, был рядом с нашим, следовательно, № 22. Фамилии их я не знаю. Ольга Павловна не работала, ее муж держал лавку школьных принадлежностей возле базара. Магазинчик представлял узкую щель, темную и душную со стойким запахом бумажной пыли и печатной краски от учебников. Хозяин был тих и безлик, с аккуратно подстриженными английскими усиками, в пенсне, всегда в соломенной фуражке. Он увлекался ловлей рыбы на удочку с бетонных плит пляжа «Солнечный». В связи с предстоящим началом учебы, он подарил мне связку ученических тетрадей, ручку, чернилку-непроливайку и карандаши. Семья жила очень тихо, очень незаметно, ни с кем не входя даже во временный контакт. О познаниях Ольги Павловны в немецком никто не знал. Где они пребывали во время бомбежек, как они уцелели, чем они питались, ничего не известно. На следующий после посещения немцев день, они исчезли бесследно. Догадки обывателей доходили до того, что они шпионы, а дед рыболов – резидент.

Вскоре у нас на улице в разное время стали появляться отдельными группами немецкие солдаты. Эти были не ухожены,

грязноваты, какие-то низкорослые, корявые. Молча, они забирали подушки, кастрюли, всякую ерунду, бесцеремонно рылись среди вещей. Двое зашли к нам, забрали две пуховые подушки. Как бабушка не пыталась им всучить перьевые и меньшего размера, они, молча и непреклонно, отвергли ее предложения, не произнеся ни слова, забрали то, что им показалось наиболее соответствующим их утонченному вкусу. Но это что, это ерунда! Вот другое обидно до слёз. У нас было два гуся и несколько кур, бабушка прятала их на чердаке сарая. Каждая очередная группа «гостей» начинала с опроса наличия у хозяев яиц, молока и пр. Зашли к нам трое, вопросы стандартные. Отвечала всегда бабушка и, разумеется, отрицательно Слухи о расстреле на месте за сокрытие и обман ходили среди жителей. Смелости моей дорогой бабушки можно было только удивляться. Простая малообразованная женщина, она вела себя достойно, разговаривала с немцами без подобострастия, даже с некоторым превосходством, дескать, что с них взять, ведь ни черта не понимают по-нашему. И вот надо же, именно в момент отрицания наличия у нас всего, глупый гусак отыскал щель среди досок крыши курятника, высунул свою дурацкую башку и произнес: «га-га». «Как же так нет – я есть всегда». Залаяла радостная немецкая речь. «О! Гуд. Дас ист фантастиш!». Мигом по приставной лестнице самый активный толстожопый молодец взлез к окошку чердака. От увиденного внутри он залаял громче и чаще. Вся живность сноровисто (большой опыт) была изловлена, связана за лапки и унесена к котлам и кастрюлям в «компанийку» (примерно то же, что и казарма). В заключение, с пафосом на ломаном языке один из бандитов произнес: «Доичен солдатен никс цап-цагап, пгосто забгаль». Отец крикнул бабушке: «Не проси!». Она горестно махнула руками и стала ругать гуся, нарушившего конспирацию.

Еще одна история с изъятием продукта, свидетелем которой мне довелось быть. Родная сестра моей бабушки Евфросиния, жила с вдовой дочерью Надеждой и её двумя малыми детьми на улице Батумской. Там в сарайчике они выращивали свинью, которая, уж не знаю каким образом, была поросая, почти на сносях. Так как все кругом развалилось, и держать свинью было негде, сестрички перегнали её под покровом ночи в наш двор. Однако не дремало око немецкого героя, любителя свиного шпига. Свинья была вычислена, и рано поутру шестеро солдатиков под командой унтера явились забрать своё, по праву победителей.

Тут уж вся женская часть нашего кодла вступила в борьбу за спасение свиньи, тем более свиньи поросой, вот-вот готовой

опороситься, стать матерью. Пускать под нож скотину в таком положении, не укладывалось ни в какие рациональные понятия. Отстаивать свое добро – древнейший инстинкт человека, тем более, свинья эта была последней надеждой прокормиться.

Две бабки, Маня и Фрося на особом диалекте приморских городов пытались объяснить свое преимущественное право на свинью. Тетя Надя – жена погибшего блатника открыто по фене с примесью мата, орала на солдат и своим ширококостным телом прикрывала подступы к свинье. Немецкому унтеру все это надоело, и он перешел к переговорам. Для этой цели он выбрал наиболее активную тетю Надю. Жестами и отдельными интернациональными словами унтер объяснил, что сейчас же напишет расписку, и за свинью владельцам будут выданы не что-нибудь, а настоящие дойчланд марки, в огромном количестве (во всяком случае, слово «много» он произносил, правда, к чему это относилось, было не ясно, может быть, много неприятностей). Пригнувшись, он вошел под полуразрушенную крышу дома к старому письменному столу. Демонстративно (ну артист, ну фокусник) из тонкой элегантной полевой сумки извлек красивый черный блокнот, выдернул лист и скорописью вечным пером написал примерно три строки. Я потом держал в руках эту важную бумагу, запомнились толстые черные буквы и цифры, напечатанные в верхней четверти листа.

Теперь уж, считая себя благодетелем, уверенным жестом и кратким словом он приказал солдатам приступать к извлечению свиньи из загона. Свинья не желала идти своим ходом. Она ревела на всю улицу. Закатав рукава френчей, четверо отважных бойцов подвели под пузо животного две лаги и, ухватившись за них, поволокли свинью вдоль улицы. Буквально, как резаная, визжала свинья, рядом, побивая солдат ногами и матерясь, бежала тетя Надя. Картинка запомнилась на всю жизнь. Яркое солнце в зените, освещает изрытую воронками улицу, без домов. Тени короткие и черные. В перспективе улицы безобразная, копошащаяся серо-зеленая кучка военных людей с розовой тушей в середине. Вокруг мечется хромая толстая женщина. Она орет, хватает солдат за одежды, пытаясь оттащить от свиньи. Солдаты медленно, равнодушно и неумолимо движутся вперед. Сразу видно потомков римских легионеров.

Дальнейшее мне известно из рассказов взрослых. Свинью притащили к какому-то немецкому административному учреждению в районе улицы Советской. Там главный начальник выслушал жалобу тети Нади, накричал на солдат, и свинья была возвращена владелице. К вечеру не спеша, своим ходом свинью пригнали домой. Возврат свиньи был удивительным и необычным

происшествием. Как тете Наде удалось очаровать высокое начальство, никому не известно. Наверняка, такой случай был единственным в оккупированном Севастополе. Мало того, немцы вообще не собирались заниматься благотворительностью, а совсем наоборот, всё оставшееся население было обложено данью. Независимо от того, есть ли у семьи подсобное хозяйство или нет, необходимо было сдавать с определенной периодичностью два десятка яиц и сметану или молоко. За сданный продукт выдавалась охранная квитанция, чтоб не брали второй раз.

Не могу гарантировать точность, но со слов бабушки организация, куда нужно было все сдавать, называлась «ВИКО». Пару раз я сопровождал бабушку в эту организацию, которая располагалась, если мне память не изменяет, недалеко от третьей школы. К нашему счастью все это скоро прекратилось, ибо стала понятна полная немощь населения.

2. Концлагерь

Вскоре после прихода немцев, может быть, на второй или третий день появились расклеенные на стенах домов объявления о том, что все мужчины от 16 лет и старше (кажется до 50 лет) должны явиться в комендатуру для регистрации, неподчинение каралось по законам военного времени. В дальнейшем нам довелось убедиться, что все объявления заканчивались подобной угрозой, или конкретно оповещалось: за не выполнение распоряжения – расстрел. Как потом оказалось, всех мужчин переправляли во временный концентрационный лагерь в районе Куликова поля, где уже находились военнопленные. Лагерь представлял собой участок голой земли, обнесенный колючей проволокой. Ни воды, ни хлеба не полагалось. Мне довелось все это видеть, так как дважды вместе с мамой приносил отцу воду и какую-то еду. Лагерь охраняли румынские солдаты. По периметру лагеря были установлены ручные пулеметы «Шпандау» на трехногих коротких опорах (я знаю, у меня потом был такой свой пулемет, немного поврежденный осколками и без патронов). Черные пулеметы лоснились на солнце от смазки. Возле пулеметов лежали и сидели румыны в форме табачно-травяного цвета и больших круглых беретах. Внутри лагеря ближе к воротам виднелись и немцы с закатанными по локоть френчами, с широко расстегнутым воротом. Чувствовалось, что они здесь главные вершители судеб. Над лагерем стоял сплошной гул голосов. К проволоке близко подходить не разрешалось ни изнутри, ни снаружи. Охрана иногда постреливала в воздух, как бы для острастки особенно назойливых посетителей. Тем не менее, люди сближались у проволоки, передавали пакеты с едой с одной стороны, записки к родным – с другой. Множество рук тянулось из-за ограды к находящимся снаружи женщинам с мольбой, просьбами о воде и пище. Отца довольно быстро удалось вызвать по фамилии, передаваемой по цепочке куда-то вглубь лагеря. Отец появился у проволочной ограды худой, заросший многодневной щетиной. Мы ухитрились передать ему узелок, и он быстро отошел, наказав больше не приходить. Постоять и поговорить было невозможно. Человеческий водоворот оттирал от забора одних, появлялись новые лица, и так бесконечно.

Отец потом рассказывал, что все дни внутри лагеря производилась «чистка». Выстраивались шеренги заключенных, и вдоль них не торопясь, шел немецкий офицер, пара автоматчиков, переводчик и человек-предатель из наших. Он указывал, кто есть командир, политрук, комиссар ну и, конечно же, «юден».

Впрочем, в отношении евреев немцы сами разбирались неплохо. Выявленных людей отводили к противотанковому рву, откуда слышались короткие автоматные очереди.

Не совсем в тему, расскажу о совершенно не обыкновенном факте. Вся степь в окружении лагеря была усеяна рваными советскими деньгами: серыми десятками и красными тридцатками с изображением В.И.Ленина в овале. Люди в страхе уничтожали всю советскую символику, портреты вождей, их книги. По слухам, тех, у кого обнаруживалось нечто подобное, расстреливали на месте. Мама и бабушка сожгли в печке облигации с изображением Ленина, и даже фотографии героев-папанинцев. Потом сокрушались о потерянном состоянии. Никто не знал о том, что весь период оккупации наши деньги будут в обращении, как и немецкие марки.

Тут же в поле, недалеко от колючей ограды концлагеря, стоял мощный ДЗОТ. В пулеметные амбразуры был виден пол, усеянный соломой, и лежащий на шинели умирающий человек. Из амбразуры были слышны слабые стоны, и распространялся отвратительный запах гниющей человеческой плоти. Говорили, что это погибает важный советский военоначальник. Проходящие мимо люди подолгу смотрели внутрь ДЗОТа, тяжело и сокрушенно вздыхали и шли дальше своим путем. Да и кто и что мог сделать, чем помочь? Собственная жизнь казалась полусном, страшной и безнадежной.

Примерно через неделю всех гражданских отделили от военнопленных и нестройной колонной по четыре человека погнали в сторону Бахчисарая. Рядом с отцом шел его приятель по прошлой работе Костя Лубеницкий. Оба не годные к военной службе по здоровью. Отец глухой, а приятель – без одного глаза. Тихо переговариваясь, они пришли к заключению, что их ведут к противотанковому рву, на расстрел и, наивные ребята, договорились – как услышишь выстрелы – падай, как будто убит.

Шли долго, под жарким солнцем, без остановок, мимо одного рва, мимо второго…. Вдруг к голове колонны примчался мотоцикл с коляской. Ахтунг! Стой, русский! Минут пятнадцать томительного ожидания. И вдруг: «Всем разойтись, к чертям собачьим, по домам!» Ноги сами понесли радостных мужиков во все стороны степи.

Вечером отец был дома. И весьма кстати, т. к. утром поступило распоряжение немецкого командования, устное и в виде наклеенных бумажек с черным штампом вверху – орел со свастикой в когтях. Предписывалась всем жителям приморской полосы, шириной до 3-х км, в течение трех суток, очистить от своего присутствия этот район. Наш подвал и наше разрушенное

жилище по улице Подгорной попадало под действие этого приказа. За неподчинение – расстрел.

Кажется, к этому же времени, а может быть, раньше, появился приказ: всем евреям нашить на одежду белые шестиконечные звезды на спину и на грудь. Я видел этих людей. К нам на Подгорную забрел старый седой еврей, почти не говорящий на русском. Чем-то моя бабушка внушила ему доверие. Может быть, хотя бы потому, что пожилая женщина 55 лет, не могла быть неверующей (здесь он не ошибся). Он заговорил с ней на еврейском. Постепенно разобрались, что он оставляет ей самое дорогое: граммофонные пластинки со священными текстами и песнопениями. Брикет из этих толстых, лоснящихся черным пластинок был неимоверно тяжелым. Вероятно, старик был беженец и нес свой святой груз от самых западных границ. Но вот судьба настигла его здесь, на краю земли. Он мог предвидеть, что будет дальше.

3. Переселение

Полоса отчуждения, очень быстро была отгорожена столбами с колючей проволокой. В моем районе она проходила от Покровского собора, спускалась вниз к Артиллерийской улице, шла мимо школы, разрушенного «Дома Дико» (куда упала первая бомба), вдоль лестницы, ведущей в Карантинную бухту и далее к развалинам Херсонеса. На столбах у прохода на каждую улицу были прибиты деревянные доски с кратким предостережением: Sperrgeben! Jutrittnur mit sperrgebict sausmeis. Запретная зона кто будет дальше идти булет расстрелен.

Нам требовалось убираться. Искать где-нибудь пристанище. Действовать нужно было быстро, оставалось меньше двух суток. В пригородной зоне, на Пироговке, Туровке, Карантине, Корабелке оставалось довольно много брошенных целых домов без хозяев. Дальние родственники подсказали, что у их дальних родственников имеется пустующая квартира, хозяева в эвакуации, присматривает дед по фамилии Масловский, который живет в своей хате на Пироговке. Где-то на краю света.

Отыскивать деда, чтобы получить добро на заселение, отправился мой папа, меня он прихватил с собой как доказательство нашей печальной безысходности. Надеюсь, я по всем своим параметрам соответствовал такому положению. Дорога была живописной, по узким улицам, засаженным акациями, с зелеными лужами и высокой сорной травой. Следы войны в виде воронок и разрушенных домов попадались редко.

Вдруг я увидел под стенкой одной из усадеб аккуратно в ряд стоящие медные трубы духового оркестра. Вставало солнце, трубы великолепно блестели. Хозяев не было. Это была символическая картина антипобеды. «Замолчали фанфары победы». Даже трубы сдались врагам. Было странно, что их до сих пор никто не забрал. Наверное, люди боялись, вдруг наши вернутся. Мне очень хотелось маленькую трубу с клавишами, но отец запретил даже дотрагиваться. Он мне сказал, что если наши вернутся и найдут у меня музыкальный инструмент – часть оркестра, то могут быть неприятности. Вот насколько мы были запрограммированы советской властью многими запретами, а по сути, библейскими заповедями. Но наши не возвращались долгих два года. Надо было отдать мальчику трубу.

Мы шли все дальше. И вот, наконец, добрались до хаты деда Масловского. Усатый дед, с трубкой во рту сидел во дворе и пек на примусе кукурузные лепешки на рыбьем жире. Запах свежей пищи пьянил пустую от голода голову. Однако дед не вник в

наше состояние, а мы попросить даже и не думали. Главным для нас было получить разрешение на заселение в квартиру. Договор состоялся на условиях, мне не ведомых. Но наверно куркуль и здесь остался «в наваре».

Началось переселение на улицу Спортивную, в дом № 13. Эта улица протянулась узкой лентой над крутым спуском к Херсонесскому шоссе, за ним располагалась пустынная Загородная балка, а на противоположном взгорье рисовалась кладбищенская стена. По краю улицы, обращенному к шоссе, были вырыты неглубокие окопы. На дне одного из окопов я нашел завернутый в промасленную тряпку наган. В его барабане был заложен полный комплект патронов. Я по-хозяйски закопал его в бруствер окопа, на будущее. Потом, в мирные времена, пытался его отыскать, но тщетно, о чем очень сожалел. Такая реликвия!

Для переезда отцу удалось отыскать арбу с одним стареньким конем. Перевезли шифоньер, стол и мелкую утварь. Большая часть нажитого осталась в старом доме. Правда, тайно от всех, призрев опасность ареста и расстрела, мы с бабушкой пролезали через колючую проволоку в запретную зону. Помню 2–3 таких вояжа. Найти в развалинах что-либо нужное удавалось редко. Мародеры не дремали. Все было учтено до нас.

Дом, в который мы переехали, был разделен на двух хозяев. Нашими соседями были сердитый старик и добрая старушка Потёмкины. У них снимала комнату семья рыбака-пьяницы Шурки Савченко, с мальчиком, моим ровесником, Толиком.

Каждой половине дома принадлежал фруктовый сад, в основном состоящий из абрикосовых деревьев. Когда мы там поселились, абрикосы входили в пору зрелости. Урожай был обильный. Это немного помогало нам справляться с голодом. Отвращение к абрикосам осталось у меня на всю оставшуюся жизнь.

Сразу после заселения я начал осваивать новую территорию. На склоне горы, спускавшемся к шоссе, мною были обнаружены два кавалерийских карабина. Вероятно, их бросили недавно. Они лежали среди кустов сорной травы, поэтому не были заметны. Мне крайне необходимы были привинченные к деревянному ложу шомпола. Из них можно было сделать почти настоящие шпаги. Маленький дурачок, я лег рядом с винтовками и начал свое дело. Несомненно, со стороны шоссе хорошо был виден мальчик, что-то делающий с оружием. Может быть, он готовился открыть огонь по проезжающим грузовикам? В эти мгновения могло стать больше на одного мертвого мальчика-героя Великой войны. Судьба была благосклонна ко мне. Шомпола отвинчены и принесены домой. «Где ты взял эту дрянь? Ах, ты отвинтил их от винтовки! Ты

хочешь, чтобы нас всех расстреляли? Что бы в последний раз …!». И так далее. Шомпола были вбиты отцом с помощью молота в землю до рифленой головки и потом еще на вершок вглубь. Позже, в разное время в рыхлую землю сада были забиты: настоящая кавалерийская шашка, подарок друга, две учебных деревянных винтовки, точная копия настоящих. Винтовки эти были изготовлены из такой прочной породы дерева, что их не брал топор. Порубить и сжечь их в печи не удалось.

Что же карабины, лежащие под горой? На другой день они были еще на месте. По всем правилам надо было вынуть затворы. Это я умел. Потом ими можно играть, разбирать, собирать, щёлкать. Но меня больше привлекало извлечь из магазина пять патронов и прижимную планку с пружиной подающего механизма. Это я тоже умел. Акция была совершена поздно вечером, в сумерки. Добыча спрятана в тайник. Потом все было употреблено в «нужные дела». На следующий день винтовки исчезли.

4. Вода

К приходу немцев все коммуникации севастопольского водопровода были разрушены. На окраинах города, где бомбежка была меньше, кое-где сохранились единичные точки пожарных кранов, дававших воду. В окружении улицы Спортивной, куда мы были вынуждены переселиться, молчали все водопроводные краны. Колодцев во дворах в этом ареале никогда не рыли, водоносный слой находился на глубине более 15–20 метров.

Появились люди, несущие ведра с водой на коромыслах. Удивительно, как это древнее приспособление сохранилось до наших дней. Бабушка тоже нашла в сарае старое серое, все в трещинах коромысло, сделанное из очень крепкой породы дерева. Чтобы драгоценная вода не расплескивалась из ведра, на её поверхность клалась круглая дощечка или деревянный крестик. Ношение воды на коромысле – тяжелый труд, требующий навыков. Я пробовал поднимать по полведра, – было очень тяжело. Давление коромысла на холку причиняло боль. Пройти несколько метров и не раскачать ведра так, чтобы вода не начинала выплескиваться, мне не удавалось. Бабушка в дальних походах «по воду» отсутствовала порой более двух часов. «За водой» говорить не полагалось: «Пойдешь за водой – не вернешься». Пожалуй, эта примета в условиях войны имела смысл. Вообще, языческие верования в виде примет широко вошли в жизнь жителей города. Это вполне объяснялось тем, что предыдущие десятилетия православная вера была беспощадно вытравлена из сознания людей. Свято место не бывает пусто. Язычниками мы были – язычниками остались.

Два ведра в сутки на всю семью, конечно же, маловато. Папе удается отыскать двухсотлитровую бочку, укрепленную на ручную двухколесную тачку. Деревянные колеса с металлическими шинами были высотой в мой рост. Катить такую бочку, даже пустую, было тяжело, а с водой и подавно, не под силу одному человеку. И вот мы с отцом отправляемся по воду, он впереди тянет за дышла, я сзади толкаю, упираясь в дно бочки. Наш путь предстоит на край городской черты, через Пироговку, где в конце улицы Рябова, за сожженным четырехэтажным зданием ФЗУ, прямо в поле торчала из земли широкая водопроводная труба с винтелем. Очередь людей с ведрами была сравнительно не велика. Мы изрядно попили холодной чистой воды, что делать, ввиду предстоящей физической нагрузки нам не следовало. Бочку залили водой доверху. Забили чопик в наливное отверстие. С большим трудом сдвинули бочку с места, и начался

наш крестный путь.

Жаркий август, солнце в зените. Дорога белая от пыли, изуродованная воронками бомб и снарядов, усеянная камнями. Для огромного колеса тачки каждый небольшой камень становится труднопреодолимым препятствием. Впереди в упряжке надсадно хрипит отец, сердечник, истощенный длительным недоеданием. Сзади в бочку упирается обеими ладонями девятилетний мальчик, в драных сандалиях и голубоватых трусах, перешитых из папиных трикотажных кальсон. Страдая от непомерного физического напряжения, я еще страдаю от жалости к отцу, от того, что он надорвется, от своей беспомощности. К горлу подступает комок, предвестник слез. Но я держусь, я ни за что не признаюсь, что у меня нет больше сил, что я сейчас упаду. Такие уж сложились отношения с папой. Бочка движется рывками, подпрыгивает на камнях и уступах дороги. Иногда она так резко устремляется вперед, что я теряю равновесие и падаю на колени. Отец, слава Богу, не видит. Я восстанавливаю свое утраченное положение. Мне неведомо, приносят ли помощь отцу мои физические усилия и страдания. Мы оба тяжело и часто дышим. Когда к дыханию присоединяется пилящий призвук из трахеи, мы делаем остановку. Мы даже улыбаемся друг другу, и отец говорит, что ничего, еще немного осталось.

Бочка-водовозка, окрашенная желтой охрой, еще долго служила нам. Мы окрепли, и когда стали строить новый дом, возили воду поодиночке, то я, то мама, только теперь совсем не издалека, а от уличного крана. Однажды, еще при немцах, я привез бочку к дому и долго стоял возле неё, задрав голову к небу, где шел воздушный бой и одновременно шлепались белые клубочки разрывов зенитных снарядов. Зрелище обыденное, и так как затекли мышцы шеи, что я прекратил наблюдение и пошел спросить, куда сливать воду. Через минуту я вернулся. На том месте, где я стоял, остались отпечатки в пыли моих ступней, а между ними лежал, сверкая на солнце, осколок снаряда длиной около 12 см, с рваными краями и с полосками нарезки на внешней выпуклой стороне. Он был так горяч, что пришлось перекидывать с ладони на ладонь, чтобы отнести и показать маме. Это свидетельство моего возможного перехода в небытие и как бы моего героического статуса не вызвал у мамы никаких эмоциональных проявлений. Она была занята кишечными проблемами моего младшего брата. Я положил осколок на комод. Там он пролежал некоторое время, потемнел, стал ржаветь и я его выбросил.

5. Рыбацкая артель

Голод приблизился к нашей семье вплотную. Вещей, а тем более драгоценностей, на которые можно было бы произвести обмен на хлеб, у нас не имелось. На деньги можно было купить, например хлеб, по цене 100 рублей за буханку, но и денег у нас не было. В страхе и панике деньги и облигации были сожжены, так как на них был изображен портрет В.И. Ленина. К этому времени мама была уже на восьмом месяце беременности, но ничего, кроме горячей воды и макухи, ей не доставалось. Моему растущему девятилетнему организму тоже требовалась хоть какая пища. Родители стали пухнуть от голода. Обо мне мама рассказывала, что по утрам я раскрывал дверцы продуктового шкафа и подолгу что-то высматривал в его темных внутренностях, – я это не запомнил. Надеяться нам было не на что.

Но чудо произошло! Расскажу по порядку. В излучине Артиллерийской бухты, на стороне, противоположной мысу Хрустальный, был каменный пирс, изрядно покалеченный воронками снарядов. У этого пирса прежде швартовались лодки и баркасы местных рыбаков. Теперь здесь, неглубоко на дне лежали рыбачий баркас и пара яликов. Немного поодаль над водой стояли механические мастерские с остатками станков и слесарных принадлежностей. Там отец пытался что-то восстановить, чтобы наладить частный бизнес (тогда таких слов и в помине не было), – изготавливать зажигалки. И тут-то явилась ватага бартеньевских рыбаков во главе с атаманом, человеком громадных размеров, Петром Горчицей. Я помню, без преувеличений, что у него кулак был размером с пивную кружку. Ребята подняли затопленный баркас, но вот закавыка, все они были настоящими моряками, отлично знали побережье, знали где, когда и чем ловить рыбу, но в тонкостях строения и эксплуатации однотактового, помпового движка, что был установлен на баркасе, не разбирался никто.

Перст провидения указал рыбакам на отца. «Да вот же классный механик и моторист!». «Костя, выручай!» – сказал один из них. И Костя не подвел. За двое суток он перебрал двигатель и вдохнул в него жизнь. Залита солярка, под металлический шар помпы подведен огонь. Шар должен накалиться докрасна. После этого нужно с помощью шнура крутануть вал двигателя. В эти мгновения еще не верящие в чудо люди столпились вокруг моего отца, мага и волшебника. Рывок шпагата, и с первого раза двигатель чихнул и затараторил: «так-так-так». Это была победа

над голодной смертью! Это была Жизнь! Это были Вера, Надежда, Любовь! Константин стал вторым человеком после рыбацкого атамана. Рыбаки, народ изрядно пьющий. И тут уж без выпивки никак не могло обойтись. Найти водки или самогона в нужный момент не было никакой возможности. Пришлось пить якобы очищенный денатурат. Мой бедный, не умевший пить отец! Разве ж он мог отказать этим славным пиратам? Они же и доставили его домой. Как он бедный страдал, но все обошлось.

Общество джентльменов организовало рыбацкую артель. Документально все было оформлено в управлении городского головы. На немцев работать никто не хотел. Но в море без разрешения немцев и без сопровождения конвоира не выйдешь. Да еще какую-то часть улова требовалось отдавать властям. Забегая вперед, скажу, что расследование НКВД не расценило труд рыбаков как сотрудничество с немецкими властями. Сопровождавшего, немца-конвоира с винтовкой, рыбаки обманывали элементарно. Ценные сорта рыбы, такие, как севрюга, белуга, камбала, удавалось незаметно сгрузить на берег далеко от города. Предлоги были разные, например: рыба плохая «укаченная», завтра пойдет для насадки на крючки перемета и прочие фантазии. Потом кто-то ночью на ялике забирал тайный улов.

Помню, что первым уловом была наша родная черноморская хамса. Отец принес, сколько мог, и потом вместе с бабушкой и мамой они принесли еще по полмешка. Жареной рыбы наелись все до отвала, раздали соседям, засолили. Бабушка приторговывала рыбой на базаре, появились небольшие деньги, можно было купить хлеб, крупы, постного масла. Рыбный рацион был разнообразен: катран, камбала, белуга, ставрида, дельфин. Потом, в мирное время таких благородных сортов рыбы, как белуга, севрюга, морской петух, лобан мне вкусить уж никогда не удавалось.

Отец страдал морской болезнью, но выводил в море свой баркас при любой погоде. Отвага его должна быть оценена высоким баллом. В море уходили далеко, земли не было видно. Ходили к мысу Фиолент, за Балаклаву, к мысу Айя. Проверяли ставники, ставили переметы, ловили кефаль запрещенным теперь способом – наметом. Суть этого вида лова заключался в следующем. Если вперед смотрящий замечал косяк кефали, на нос выходил большой мастер метания намета. Это искусство, и не каждому удается его освоить. Намет наматывался на руку особым образом, грузилами вниз. Со свистом разматывалась брошенная сеть в виде широкого круга и накрывала сверху косяк рыбы. Грузила быстро уходили на дно, и низ сети затягивался

шпагатом. Рыба оказывалась замкнутой в мешке. Вся эта масса подтягивалась к борту и через горловину сетки, как вода, изливалась на дно баркаса.

Еще отец интересно рассказывал о добыче дельфина. Страшно об этом сегодня писать, но дельфина били из трехлинейной винтовки. Винтовка хранилась у конвоира и в нужный момент выдавалась рыбаку, единственному специалисту в этом деле. При этом конвоир приводил в боевую готовность свое оружие. Мало ли что задумают эти непонятные русские? А лихие русские ребятки, освоившись, действительно, не спеша обсуждали возможность побега. Дождаться хорошей погоды (тумана или шторма), пришить немца, благо, специалисты имелись, и уйти к берегам Кавказа, в крайнем случае – в Турцию. Но вот у многих семьи. Тут здорово не погуляешь.

Итак, охота. Увидав невдалеке ватагу прыгающих дельфинов, вперед смотрящий докладывал атаману. Атаман принимал решение: «Бить!». «Стрелок», а только так его и называли в команде, получал винтовку, и, растопырив широко ноги, устанавливал себя на баке. Достаточно близко подойти к заигравшимся рыбам было нереально. Испуганный дельфин уходил стрелой. На утлом баркасике его не догонишь. Волновалось море, прыгал на волне кораблик и с ним стрелок, прыгали дельфины, и всё это совершалось вне ритма, хаотично. Закон промысла гласил – бить только насмерть. Раненый дельфин – это нарушение этики, это всеобщая печаль. Уйдет раненый дельфин – что-то с ним будет!? Пойми читатель, это не забава американских плейбоев. Тут древний, как матушка земля, один из главных инстинктов человека – добыча пропитания себе и близким. Мастер-стрелок должен обладать неимоверной выдержкой, недюжинной физической силой, зорким глазом, опытом, добрым сердцем и мистической удачей. И такой человек был и был здесь и стрелял без промаха! Отец помнит только один случай, когда стрелок ранил дельфина, горестно ахнул и мгновенно послал второй выстрел и добил несчастного.

Убитые дельфины плавали на поверхности моря. Их собирали в баркас. Немцы на эту добычу не претендовали – очень воняет рыбой. Мы же ели с удовольствием. Взрослые удивлялись, почему прежде не ели дельфина, – «ну, прямо как свинина». Спустя несколько лет, в сравнительно сытые годы, я попросил бабушку сделать жаркое из дельфинятины, но есть не стал, действительно сплошной рыбий жир.

Так что море реально спасло нас от голодной смерти. И как мне грустно теперь нырять на глубину и не встретить ни одной рыбешки, даже бычок и зеленуха перевелись. С иронией

вспоминаю фразу А.М.Горького: «Как прекрасна земля и человек на ней!». Да уж, поработал человек. Мой друг детства, профессор нашего института биологии морей, О.Г. Миронов утверждал, что на дне севастопольских бухт лежит слой нефтепродуктов, которым можно было бы долгие годы питать автотранспорт. Где уж тут до рыбы!

Зимой 1942 года произошло поразительное, небывалое явление. В артиллерийскую бухту зашла кефаль. Не случайный косяк, а казалось, что вся кефаль Черного моря приплыла сюда. С пирса было видно густое скопление рыб половозрелых размеров, все одна к одной. Движение рыбы было хаотично, вода буквально кипела. Почему-то рыбу никто не ловил. Мы с приятелем нашли большую кастрюлю и пытались ею черпать рыбу, но она ускользала, и мы не поймали ни одной. Отец объяснил такое поведение рыбы сильным взрывом где-то в море. Рыбу контузило. Так продолжалось, наверное, двое суток, потом рыба ушла.

6. Евреи

Слухи о том, что немцы жестоко расправляются с евреями на захваченной земле, доходили в осажденный Севастополь. Часть евреев, еще до объявления осады разъехалась по городам Крыма, часть была эвакуирована уже из осажденного города. И все же к приходу немцев еврейского населения оставалось довольно много. На что они рассчитывали, на что надеялись? Вероятно, доверились успокаивающей немецкой пропаганде. Действительно, как же так, цивилизованная европейская нация? Другие не видели для себя возможности покинуть родной кров. Сюда же примешивалась боязнь процесса эвакуации под бомбами и страх неизвестности бытия на чужбине.

Пришла Европа. Первым делом заявила о себе приказами, о необходимости ношения евреями белых шестиконечных звезд Давида на одежде, спереди и сзади. Отдельно в приказе означалось: за укрывательство евреев – расстрел. В тот день, когда наша семья покидала свой дом на Подгорной, согласно жестокому приказу военного времени о создании приморской полосы отчуждения (запретной зоны), я впервые увидел на улице Частника людей с нашитыми на пиджаки белыми матерчатыми звездами.

Вскоре приказом, а затем облавой все евреи были собраны на стадион. Строго наказывалось: вещей не брать, при себе иметь только необходимое для личного пользования в дороге на одни сутки. Стадион был обнесен каменной стеной с редкими проемами от снарядов. Перед войной мне довелось однажды присутствовать здесь на футбольном матче. Запомнились низкие зеленые скамейки в три яруса, без спинок. Было жарко. Ругались подвыпившие мужчины. Сути происходящего я не понимал.

Еще раз я побывал на стадионе уже при немцах. От моего дома стадион располагался через улицу, так что маминого наказа далеко не уходить я как бы и не нарушал. На поле стадиона немецкие толстозадые эдельвейсы (горные стрелки дивизии «Эдельвейс) играли в футбол. Я нарушил завет, пролез на стадион и стал за воротами вратаря. Сетки на воротах не было, и мячи свободно пролетали за пределы поля. Мое желание подержать хоть раз в руках неведомый доселе настоящий футбольный мяч было необоримо. Пару раз это удалось. Вдруг сильно пущенный футбольный мяч попал мне в грудь и свалил на землю. Гусиный гогот толстозадых выразил их немецкий восторг. И надо же так случиться, что в проеме стены в это время остановился мой отец и все видел. Он отозвал меня к себе, крепко взял за руку и повел

домой. Отец никогда, ни разу в жизни не бил меня. Пройдя пару шагов, он сказал: «Что немцам прислуживаешь?». Лучше бы шлепнул по заднице. Больше я на стадион не ходил.

О том, что всех евреев собрали на стадионе, потом погрузили на машины, отвезли за город к противотанковому рву и расстреляли, мне сообщил по секрету полушепотом соседский мальчик Толя Савченко. Он говорил, что все видел своими глазами. Я допускаю, что он видел плотное кольцо оцепления жандармами и полицаями снаружи стадионной стены, что он видел погрузку людей на громадные крытые брезентом дизельные грузовики. Но что он мог видеть саму страшную акцию – это уж нет. Скорее всего, слышал это от полицаев-предателей. Спустя несколько дней мне пришлось проходить по улице Частника, вдоль злосчастной стены стадиона. Вдруг в щелке под стеной что-то блеснуло. Это была маленькая, надбитая елочная игрушка. Возможно, какой-то еврейский малыш до последнего хранил эту единственно для него ценную вещь, пока злой окрик или даже удар не заставил его расстаться со своим сокровищем. Я присыпал игрушку землей, как бы похоронил.

Спустя много лет я случайно прочел на мраморной доске в городской поликлинике фамилии расстрелянных врачей и среди них детского врача Звенигородского. Когда я заболевал, а бывало это часто, его приглашали к моей постели. Помню свежее с мороза лицо, усики, бородку, пенсне и черную каракулевую шапку пирожком; тугие приятные выстукивания по моей хилой грудке, плотные прикосновение деревянной докторской трубочки, длинные языки рецептов на бутылочках с лекарством и выздоровление. Почему он не уехал? Ведь он-то наверняка должен был понимать, что произойдет. Мир праху твоему, коллега!

7. Лёня

Лёня. Леонид Юльевич Красов – самый младший сын моей бабушки по отцу Марии Матвеевны. Он был любимцем всей семьи. Когда деда Красова экспроприировали, мой отец был исключен из комсомола, а Лёня каким-то образом остался в рядах КИМа (Коммунистический Интернационал Молодежи) в последующем – ВЛКСМ. В фамильном доме на ул. Артиллерийской за ним оставили двухкомнатную квартиру. Дед Юлий умер от кровоизлияния в мозг. Не смог пережить утрату накопленного честным трудом состояния. Остатки семьи перебрались в небольшую усадьбу в Кадыковку, под Балаклавой, где Леонид стал комсомольским функционером, а затем был избран на должность первого секретаря комсомола Балаклавского района. В первые дни войны он был призван в армию, о чем свидетельствует старая фотография, где дядя Леня в военной форме, в звании лейтенанта. Фотографию я видел у его дочери Светланы где-то в 80-х годах. Далее поразительно: когда немцы захватили Балаклаву, Леонид Юльевич становится городским головой. Мы узнаем об этом от бабушки Марии Матвеевны. Отец не успевает повидаться с любимым братом, как того арестовывают и расстреливают. Все произошедшее неясно, и дальнейшая информация состоит из случайных слухов и догадок. Наверное, оправдана догадка о том, что Леонид как комсомольский работник был призван на должность политрука. Плотная связь партийных образований с НКВД известна. Он попадает в плен и с легендой действительно обиженного советской властью и по заданию формирующегося Крымского подполья продвигается на должность городского головы. Его выдает предатель. Арест. Потом его как будто видели в севастопольской тюрьме. Кажется, была какая-то записка к бабушке. Помню, она пришла пешком из Балаклавы и принесла весть о том, что Леонид расстрелян. Боясь репрессий, она с дочерью Антониной и внучкой Ниной, очень быстро исчезла из Кадыковки. Обнаружились они в нашем доме только через год после окончания войны. Оказывается, они прожили эти годы в глухой деревеньке Росошка, под Ростовом. После Лёни осталась жена и дети: мальчик и девочка. С двоюродной сестрой Светой, живущей в Симферополе, я встречался, но она не знает об отце ничего. На ее запросы в разные инстанции – ответ краткий: числится без вести пропавшим.

8. Еда

Проблемы еды оставались актуальными на протяжении всей войны, да и потом тоже. К каким только занятиям по добыче пищи не прибегал народ Великой непобедимой страны. Например, соседка по дому тетя Дуся, простая деревенская баба, служила в столовой немецкого офицерского собрания. Оттуда ей удавалось приносить обрезки и остатки продуктов. Немного перепадало и нам. Какими вкусными казались кусочки эрзац хлеба из кукурузной муки! Однажды на Рождество она принесла остатки от торта – забытый вкус мирного времени. Ведь уже почти два года мне не перепадало ничего сладкого, с натуральным сахаром.

Из кусочков ткани, оставшейся от мирного времени, старых платьев, брошенного в развалках солдатского нижнего белья, мама на старой доброй швейной машинке фирмы «Зингер» шила бюстгальтеры, женские панталоны и трусики, носовые платки, салфетки. Все это бабушка грузила на двухколесную тачку и отправлялась в длительный вояж по деревням вблизи Севастополя, менять на продукты. Спрос на швейные изделия был, ведь никакие магазины не работали. Обмен шел на овощи и кукурузу. Уставшая, но с полной тачкой добра моя дорогая бабушка Мария Васильевна возвращалась домой. Порой она отсутствовала несколько суток. Переживания и волнения нарастали с каждым днем ее отсутствия. Лихие времена, люди пропадали тихо и незаметно.

К причалам Минной стенки иногда подходили морские транспорты из Румынии. Цыганистые вороватые румынские солдаты к обмену наших хороших вещей на их продукты были всегда готовы. Только вот немецкие часовые на пирсе бдительно следили за порядком, и обмен совершался где-то в стороне, за углом, в закоулке. Сарафанное радио сообщило: пришел большой румынский корабль. Мама решилась идти менять единственную ценность, два куска толстой свиной кожи фабричной выделки, вероятно, годные на подметки. Торг с плюгавым румынским солдатиком шел к положительному завершению, как вдруг появился немецкий жандарм. Прозвучало: «Век!». Румыну – по заднице прикладом, а маму, под конвоем в город. Необходимо было избавиться от вещдоков – двух кусков кожи, завернутых в тряпку. При повороте за угол мама бросила свою ношу назад, чтобы не видел часовой. Проклятая кожа при падении плашмя издала громкий шлепок. Немец зло заверещал, велел вернуться и поднять, а потом отобрал злосчастный узелок. Мама была

доставлена в жандармерию. Велели ждать. Долго. Что пережила за это время молодая, неопытная, бывшая советская женщина? А лет ей было всего 28, а дома остались двое детей, мать, муж. Доведется ли свидеться?

Вердикт был короткий. Денежный штраф, непомерно высокий, имущество (кожа) конфисковано. Штраф уплатить следует на следующий день. В залог оставлен документ – советский паспорт в зеленой коленкоровой обложке. Не смешно ли? Где эта чертова страна, «где так вольно дышит человек»? Гражданка непобедимой сталинской державы, молодая женщина думает – повеситься ей сейчас или добраться до дома? Где взять денег? Занять не у кого, все такие же нищие. Продать из дома нечего.

Но вот бабушкина сестра тетя Фрося Ольхина, дымя трофейной папиросой (сколько помню ее, всегда с папиросой в зубах, в клубах дыма – курила зло), приказала: «Вот мешок сырых семечек. Бери! Пусть сестра Маня жарит, а ты на угол под школу № 5, там, на площадке, парами гуляют девки и немецкие солдаты. Торгуй стаканчиками, сыпь в бумажные кулечки». Боюсь соврать, кажется, семечки продавались по 10 рублей за севастопольскую стопку (помните у Ильфа и Петрова? – «Они пили водку большими севастопольскими стопками»). Закрутилась работа. Бабушка жарит семечки на двух противнях, некоторые с приправой соли или перца – деликатес. Я подношу маме продукт. Бедная, она говорила, как ей было вначале стыдно, много знакомых, дело непривычное, как бы презренное. Но ничего, торговля пошла споро. Тогда семечки заменяли многим пищевой рацион. Поешь немного, и меньше кушать хочется. К вечеру мешок семечек был продан, денег добыто с лихвой. Хватило заплатить штраф и рассчитаться с тетей Фросей.

Еще одна попытка улучшить пищевую проблему. Папа раздобыл где-то пару кроликов. Самка понесла и вскоре родила несколько крошечных крольчат. Для прокорма кроликов отец накосил травы и сложил во дворе небольшую копну, в которой, понаделав норы, поселилась кроличья семья. Я брал иногда на руки пугливых хорошеньких крольчат, умилялся ими, однако, дружбы не получалось. О том, что эти зверьки потом пойдут в пищу, даже не думалось. И вот беда! Прошел дождь, а Норд Ост принес ранний заморозок. Копна сена покрылась прозрачной ледяной корочкой. Наутро кролики не выпрыгнули из своих норок. Разворошив сено, мы нашли обледенелые серые култышки. В незрелом детском «умике» было недоумение, непонимание ни причины, ни необходимости первой утраты. За что? Смерть во всех проявлениях была рядом, но я еще ни разу не сталкивался с

её конкретными материальными проявлениями. Больше мы никогда кроликов не разводили.

Пришла пора козлиного стада. Пора веселой раздольной жизни, без взрослого присмотра, но с постоянной досадой на норовистых, всегда готовых к дальнему побегу вредных, глупых животных. Мое маленькое стадо состояло из четырех-пяти взрослых коз, да еще их приплод, разной степени зрелости. В мои обязанности входило утром отгонять коз в общее стадо, а вечером, около 17 часов, ходить их встречать, – эта своенравная дрянь сама домой не возвращалась. Без присмотра они разбредались для поедания бумаги, листьев с плодовых деревьев, попадали в такие места в развалинах домов, из которых не могли самостоятельно выбраться, запутывались в кустарнике и проволоке и потом орали, т. е. блеяли, уставясь тупыми невидящими от безумия глазами в пространство.

Особенно выделялась ангорская коза Любка, серо-сизой масти, с длинными космами шерсти на животе и короткими бугорками на башке, вместо рогов. Предвидеть, что она совершит через секунду, было не в моих силах. Единственным устремлением этой бестии было отпрыгнуть и поскакать как можно дальше от меня, направление не имело значения. Ни на зов по имени, ни посулы в виде сушенной в духовке картофельной кожуры (прообраз чипсов), от которой балдели все представительницы моего стада, не привлекали её. Она подпускала меня на 3–4 метра, желтый выпуклый глаз с веретенообразной черной щелью посередине четко улавливал направление моего движения. Короткое противное «бее», прыжок вбок, серия безалаберных скачков по камням, и вот она уже на остатках высокой стены. Желтый глаз туп и неподвижен, только веретено зрачка сузилось до толщины в нитку. Глаз и приподнятая голова выражают крайнюю степень надменности и презрения: «Ну, что, заморыш, достал?». Плюнуть и бросить её не позволяла ответственность перед родными. Меня никто не стал бы укорять, но обязательно кто-нибудь, молча, отправлялся на поиски, а мне от этого становилось еще хуже, уж лучше бы поругали.

Все же коза пропала. Слава Богу, убежала она не от меня, а от бабушки. Коза любила бабушку, но в тот раз победила та часть двойственного женско-козлиного начала, которая заведовала прыжками. Вот она и ускакала. Семья ждала, что она вернется, так бывало прежде. Но, увы. Вероятно, в этот раз охота отважных сынов Вермахта была удачной.

В общее стадо коз собирали за городской чертой, в поле, где заканчивались последние строения. Пастухи, престарелые муж и

жена, крайне запущенного вида, как нынешние бомжи, безликие и бессловесные. Расплачивались с ними и деньгами, и кто что даст.

Козье молоко я не уважал, но взрослым это было явным подспорьем.

9. Печальная дорога

За период оккупации у меня была одна основная и единственная дорога, так совпало. Ходить-то больше было просто некуда, с одной стороны запретная зона, с другой – поверженный в прах город. По этой дороге я гнал в стадо коз, по ней ходил в школу и получать по карточкам хлеб. Дорога шла от дома по улице Спортивной, мимо Кладбища Коммунаров и собачьего бульварчика – с одной стороны и тюремной стены – с другой. Потом через Пироговку, мимо полусгоревших трехэтажных домов, в народе называемых комбинатами, далее по улице Рябова, до ее конца. Там был край города. В этих местах сохранились серые кирпичные двухэтажные здания (кажется, два или три). Несколько таких же стояли полуразрушенными. В одном целом здании была школа, в другом в закутке через узкое окошко выдавался хлеб по карточкам, в строго определенное время. Хлеба выдавали мало. На всю семью из пяти человек нес я под полой куртки 2/3 круглой буханки, около полутора килограммов. Дорогу эту мне приходилось преодолевать по несколько раз в день. То, что мне довелось видеть, осталось в памяти навсегда, и лучше бы мне этого никогда не видеть.

Глухая тюремная стена, мимо которой я проходил, была высотой около 5–6 метров. В начале стены на углу над ней возвышалась деревянная будка с часовым, иногда с винтовкой, иногда был виден пулемет. По верхнему краю стены тянулась колючая проволока на загнутых наружу железных опорах. Под стеной, наверное, на расстоянии пяти метров было установлено колючее заграждение на деревянных столбах в рост человека. Непременное объявление гласило о запрете заходить за колючую преграду, часовому разрешалось открывать стрельбу без предупреждения. Земля между стеной и оградой пестрела от бумажек, привязанных нитками к камню, в некоторых случаях под бумажкой виднелся край денежной купюры. Некоторые пацаны лазали под проволоку, чтобы подобрать лежащие ближе к краю комочки бумаги с деньгами. Отвага, безрассудство, недомыслие и озорство были их поводырями в этом деле. Правда, часовой кричал «Век!», но ни разу не стрелял. В основном, содержание бумажек было двоякого рода: в одних просили сообщить родственникам по указанным адресам, где находится такой-то, в других – мольба о хлебе.

Однажды, когда я возвращался по моей обыденной дороге с только что полученным куском хлеба, на середине стены показалась голова и плечи человека в пилотке. Как уж он

взобрался туда, неведомо. Часового в будке не было. Из последних сил он бросил в мою сторону камень с деньгами. Пакетик упал в нескольких метрах от ограждения. Слабым, сиплым голосом с надрывом человек прокричал мне: «Мальчик, принеси мне кошку!». Мгновенно появился часовой в будке и перебросил через перила ствол автомата. Тут же человек исчез. Мне немец прокричал, чтобы я убирался.

В тюремной стене имелась маленькая одностворчатая калитка, по размерам подходящая для того, чтобы пропустить одного человека. Располагалась она почти напротив узкого каменного прохода в ограде Кладбища Коммунаров, как раз на границе между кладбищем и пустырем, который называли собачьим бульваром. Здесь прежде до революции выхаживали собак местные барыни.

Утром калитка в тюремной стене открывалась. Выходили конвойные устанавливали редкую цепь в одну шеренгу от калитки до кладбищенской стены. Там за стеной был вырыт пленными русскими солдатами широкий ров братской могилы. Начиналось скорбное шествие наших ребят. Они несли самодельные носилки с теми, кто за минувшую ночь ушел из жизни от голода и болезней. Сами носильщики еле передвигались, некоторые падали, их подгонял конвой. Дойдя до могильной ямы, они безразлично сбрасывали трупы и, немного постояв, шли за следующей ношей. Стояла полная тишина, ни стонов, ни криков. Одежда всей массы пленных была грязна, в рваных полосах, настолько сопревшая, что казалась мокрой. Серые лица, глаза без всякого выражения, покорность всему: завтра, возможно, и тебя горемыка снесут в ту же яму. Мне задерживаться не разрешали, гнали и словом, и пинком. Когда я возвращался назад, часть могилы уже была заполнена и присыпана землей. Оставшаяся часть рва ждала на следующее утро своих постояльцев.

Точно мне неизвестно, но, вероятно, в здании тюрьмы немцы содержали раненых и больных. В один из дней по шоссе в Камышовую прогнали очень большую партию пленных. Эти были значительно бодрее, сравнительно опрятнее. Среди них были раненые, судя по повязкам, их поддерживали товарищи. Но самое главное, они пели! Особенно громко песня звучала в начале колонны. Там выделялся высокий стройный человек, с кровавой повязкой на лбу. Пели они старую шахтерскую песню: «А молодого коногона несут с разбитой головой…». Женщины сбегали с горки и рассовывали идущим хлеб, помидоры, фрукты. Конвой разгонял баб, стрелял вверх, но всех отогнать не успевал. Колону гнали долго, до вечера. Видно из её рядов был оставлен

умирать молодой военный. Его положили на углу улиц Спортивной и Костомаровской, под плетнем огорода постелили шинель, оставили котелок воды. Ранение было в живот, он был без сознания, все время стонал, вокруг него стоял смрад распадающейся плоти. Кто-то из соседей подходил, но чем можно было помочь? Мучился бедняга трое суток. Потом затих.

Возмездие пришло позже, весной 1944 года. По этому же шоссе гнали многочисленные колоны немцев, во много раз больше, чем в прошлом наших, и больше двух суток. А в заливе Карантинной бухты, что под школой № 19, долго плавал труп немецкого унтера. Что привело тебя к нам, немецкий солдат?

В конце улицы Спортивной стоял брошенный дом, не тронутый бомбежкой. В нем незаметно появились новые жильцы. Дело было осенью 1943 г. Это были беженцы из Западной Украины. Говорили, что они бежали от голода. Когда бы я ни проходил мимо этого дома, всегда видел сидящих на лавочке перед серой глухой стеной отца этого семейства и рядом с ним двух сыновей. Дети были в возрасте примерно семи и десяти лет. Они были в грязном нижнем белье, босые и такие исхудавшие, что под рубашками определялись выпирающие кости плеч и ключиц. Не шелохнувшись, они провожали меня таким голодным и страдальческим взглядом, что мне становилось жутко. Я старался преодолеть пространство перед ними бегом. Мне чудилось, что они хотели бы съесть меня. К ночи семья покидала свой пост на скамейке и уходила вглубь дома. Однажды они не вышли на улицу, и больше я их не видел. Позже стало известно, что они все умерли.

10. Школа

В положенное время, осенью 1942 года, по распоряжению городского головы была открыта школа (кажется, семилетка). Местонахождение её на краю города, за Пироговкой, в двухэтажном кирпичном здании, которое я уже описывал. Я пошел в первый класс в девятилетнем возрасте. Из-за частых налетов немецкой авиации и бомбежек всего города (сейчас такие называют ковровыми) не было в моей жизни ни первого звонка, ни радости учиться в первом классе советской школы. Лучший друг советских детей тов. И.В.Сталин на этот раз «нэмного нэ учёл». Если бы не война, наверное, совсем иначе сложилась бы моя жизнь.

Вначале, на период организации, был один класс, человек на 70. Потом нас разделили на два параллельных. Классным руководителем моего класса стала Юзефа Викентьевна, молодая женщина лет 20, голубоглазая, с русыми буклями волос. Она была добра к нам, меня же несколько выделяла, за то, что я бегло читал и знал наизусть много басен И.А.Крылова. Кроме того, я был беспредельно послушен, исполнял все указания сразу и беспрекословно, на замечания краснел, как девчонка, был наивен и глуповат, ну, типичный «маменькин сынок». К сожалению, на протяжении жизни и к старости я так полностью и не «выдавил из себя раба». Большинство же мальчиков нашего класса были озорники и непоседы. Они хорошо и внятно матерились, покуривали. Смело, прямо в классе разряжали гранаты, а запалы от «лимонки», дернув за кольцо, лихо бросали в окно на улицу. Я завидовал им, но что-то, даже не страх, сдерживало меня.

Ну а что же немецкая школа? А школа была вовсе не немецкая. Нас учили русские учителя, на русском языке, по учебникам для первого класса, оставшиеся от советской власти. Никакой немецкой идеологии нам не внушалось. Единственная новая книга была букварем, напечатанным на газетной бумаге, в бумажной обложке и без картинок. Зато на первой странице был портрет Гитлера. Подпись под портретом гласила: «Адольф Гитлер – освободитель». В коротких рассказиках букваря постоянно ругали большевиков и раскулачивание. Были рассказы о хороших немцах, о том, что теперь мы будем жить хорошо. Особенно знаниями нас не грузили (зачем рабам знания?). Часто, вместо урока, читали книжки вслух: учительница, мальчик Володя, который быстро и гладко читал, и я.

В репертуаре были «Золотой ключик», сказки Пушкина, адаптированные мифы Греции.

Как-то учительница спросила: «Кто знает стихотворения наизусть и сможет сейчас прочесть?». Первым прочел басню И.А.Крылова «Ворона и лисица», конечно же, я. Басню эту я неоднократно слушал по граммофону, поэтому интонации чтицы врезались в память, и имитировать профессиональное чтение было легко. Был успех. Затем выразительно, громко и с пафосом мальчик Володя прочел стихотворение, в котором говорилось о силе Красной Армии, о великом товарище Сталине, о смелом бойце, что сокрушал врагов. Заканчивалось стихотворение словами: «…смелого пуля боится, смелого штык не берет!». Никакой реакции класса на патриотическое стихотворение не последовало. Интересно, что учительница не прервала чтеца и ничего не сказала по поводу стихотворения. Она только спросила: «Володя, где твоя мама?». Низко наклонив голову, мальчик тихо ответил: «Маму убило бомбой». «Ладно, иди, садись на место», – сказала училка. Что тут еще скажешь? Прошло так много лет, а это воспоминание застряло в моей памяти.

Иногда на большой перемене привозили кукурузный суп. О происхождении этого благотворительного дела мне ничего не известно. Заранее нам было рекомендовано иметь при себе всегда в сумке миску и ложку. По чьей инициативе, не знаю, мы дважды относили большую кастрюлю с остатками этого супа под ворота тюрьмы для наших пленных солдат. Полицейские переливали суп из кастрюли в ведро, а нас разгоняли.

В начале рождественских каникул неожиданно были прерваны уроки, нас вывели во двор школы, построили по классам и куда-то повели (озорники весело выкрикивали: «Нас ведут на расстрел!»). Среди руин родного города, мимо хлебозавода и Исторического бульвара по улице Ленина (как она называлась тогда, у немцев, я не знаю) нас подвели к сохранившемуся от бомбежек зданию, которое вначале называлось ТКАФ (театр Красной Армии и Флота), потом Домом офицеров, у немцев это было Офицерское Собрание(?). Вокруг все было выметено и вычищено. Лицевая стена была побелена в светло-желтый цвет. На стенах висели длинные красные полотнища с белым кругом и свастикой в центре. Впервые в жизни, а не потом в кино, я увидел редкую цепь часовых в касках с овальными серыми бляхами на груди и автоматами. Они стояли, раздвинув ноги в начищенных сапогах, не шевелясь, как истуканы. Нас запустили в огромный зал театра, полного света еще не было, но над нами во весь потолок был виден нарисованный темно-коричневой краской огромный орел, держащий в когтях венок со свастикой внутри. Ново и непонятно было все! Реакция пришибленности и ошарашенности.

Раздвинулся занавес. Вышел набриолиненный господин во фраке. Кратко поздравил нас с Рождеством Христовым и повел концерт. Запомнилась пианистка по фамилии Шпилевая и фокусник, который доставал отовсюду монеты и со звоном бросал их в жестяную банку. Перечисленные подробности никого не удивят. Но для меня все это было впервые, я был Маугли, которого выпустили из темного подвала, а шел мне в ту пору уже десятый год. Закончился этот случайный праздник раздачей кульков с конфетами и пряниками.

Далее занятия шли своим чередом, и второе полугодие в школе мне почти не запомнилось. Ну разве то, что я перестал читать стихи на публику. Случилось вот что. Какое-то школьное событие по весне, потому что нас всех вывели наружу, может быть, Пасхальные дни. Был организован широкий круг из всех школьников. Юзефа Викентьевна первым выпихнула на середину круга меня и объявила, что сейчас этот мальчик прочтет басню Крылова «Ворона и лисица». Как раз напротив меня стояли две великовозрастные девки-коровы, толстобедрые и циничные, вероятно из ближайшего хутора. Они щелкали семечки, и одна из них громко сказала, «Ну, вот опять басни!». Во-первых, одно дело – читать стихотворение в гулком классе, а не в безвоздушном пространстве «бездушного» круга людней, во-вторых, неожиданное, лично не запланированное чтение стихотворения. Не было куража. И, наконец, презрение аудитории в виде двух девиц. Все! Прошла моя пора. Больше я никогда не выступал перед аудиторией, кроме одного раза, который меня окончательно добил. Об этом расскажу позже.

Первый класс я закончил с похвальной грамотой от администрации городского головы: «За отличные успехи в учебе и примерное поведение». Когда в 1948 году репрессировали моего дядю, и обыск приближался и к нашей семье, мама в страхе сожгла мою грамоту.

Во второй класс я проходил не более месяца. Начались интенсивные бомбежки города, теперь уже нашей авиацией. Под одну из таких неистовых бомбежек я попал в области собачьего бульварчика. Бомбы падали почему-то на неработающую известковую печь, с наружной стороны Кладбища Коммунаров. Я лег под монолитную каменную стену кладбища, решетку для которой ковали мои дед и отец. А еще эта стена окружала пятый бастион. Бомбами разметало известковую пыль, и на время все стало как в тумане, а деревья белыми. Такою же белою я увидел маму, которая бежала ко мне. Взрывы к этому времени уже прекратились. Мама бледная, задыхающаяся от бега, схватила меня в охапку и сильно прижала к себе. Она думала, что меня

убило. Больше в школу меня не пускали.

Наверное, к этому же периоду осени относится сообщение по секрету от приятеля. Жоры-заики, что Гестапо арестовало двух учительниц старших классов. Одну из них в школьной среде звали Любкой. Я помню молодую хорошенькую женщину в голубой тонкой блузке с довольно высоким бюстом. Над ней и её подругой подшучивали старшие ученики по поводу того, что они гуляют с немцами. Потом по слухам мы узнали, что их расстреляли.

Еще учась в первом классе, мне приходилось проходить по улице, которая шла под восточной стеной Первой больницы. Так вот на этой улице в двухэтажном доме на стороне четных номеров домов на втором этаже жили эти две учительницы. Иногда из раскрытого окна были слышны звуки патефона, смех, громкие голоса.

В один из моих проходов по этой улице, во времена близкие или до того, когда приятель сообщил мне об аресте учительниц, я увидел стоящий у подъезда того дома легковой автомобиль, двух людей в штатском, смотревших вверх на раскрытое окно. У одного из этих людей выглядывала из правого кармана брюк рукоятка пистолета с темно-коричневой округлой рукояткой. На земле валялись какие-то листки бумаги. Я почувствовал, что происходит что-то необычное, возможно, опасное. Спустя многие годы мне вспомнилось все одновременно. Совместились картинки и события. Наверняка, я проходил мимо того дома в то время, когда там шел обыск.

Ближе к весне 1944 года, чаще на рынке, стали появляться листовки «За нашу Советскую Родину!». В них сообщалось о победах Красной Армии, о том, что скоро придет освобождение. Люди искренне радовались каждому листочку. Появилась песня патриотического содержания. На мотив довоенной песни «Спят курганы темные» пели «Молодые девушки немцам улыбаются…» и дальше о предательстве.

В наши дни по-разному теперь говорт о предателях, о тех, кто хотел выжить и шел в услужение к немцам. Нам ли, людям, судить их? Правда, были среди них и те, кто не только хотел выжить, но и жить хорошо. Среди моих соучеников были двое, чьи родители служили в полиции. У одного, по кличке Испанчик, отец был главным полицейским начальником. Иногда его привозили в школу на автомобиле. Одет он был шикарно, во все новое, мне запомнился большой кремовый бант у него на шее. В школе чернявый маленький пацан был окружен мальчиками-подхалимами и мальчиками-охранниками. Об Испанчике говорили с подобострастием, ссылаясь на высокий и угрожающий

пост его отца. Что потом произошло с ним и его семьей, не знаю. А вот отец второго мальчика на второй день после прихода наших повесился в развалке, почему-то в одних кальсонах. Кроме службы у немцев, он держал лавку на рынке. Я видел этот ларек, где он и его жена торговали насущно необходимыми продуктами. Однажды этот мальчик зазвал меня к себе домой. Я был поражен роскошью обстановки, обилием ковров и дорогой посуды. На столе, накрытом дорогой парчовой скатертью, стояли хрустальные вазы, наполненные всевозможными сладостями и фруктами. Мне, было, разрешено есть все, что пожелаю. Кроме того, мой приятель насовал мне в карманы орехов и печенья. Отец отругал меня за то, что я воспользовался презренным подаянием от холуев и грабителей, и категорически запретил повторные посещения этого дома.

Зимой 1944 года налеты наших самолетов участились. Из листовок мы узнавали, что наши приближаются к Крыму и скоро начнется освобождение полуострова. В школу я уже давно не ходил. Точно не знаю, но, кажется, она прекратила свое существование. В этот период я много читал, и всё же мама справедливо считала, что мне необходимы первоначальные знания, предусмотренные школой. По соседству жила учительница литературы Нина Владимировна, она-то и предложила маме заниматься со мной. Оплата за обучение шла натурой, в основном рыбой. Процесс обучения проходил совершенно легко и свободно. Из деликатности я делал вид, что понимаю объяснения о дробях, склонениях и суффиксах. На самом же деле, знания не хотели задерживаться в моей голове. Мне было неинтересно, и от вводимой в меня информации я всё больше и больше тупел. Учительница была добра. Мне сдается, что мы все понимали никчемность любых занятий и деятельности, направленных на перспективу. Никто не ведал, что с нами будет. Жить следовало одним днём.

В апреле непрекращающаяся канонада то приближалась к городу, то удалялась. В небе шли постоянные воздушные бои. К радости, наши истребители на бреющем полёте гонялись за Мессершмиттами над трубами наших домов. Занятия наши как-то сами собой угасли.

11. Наши игры

Война прогнала с улиц города детские коллективные игры. В период осады и дети исчезли с улиц. Большинство эвакуированы, а оставшимся стало не до игр. Кто будет играть в войну на войне? Нелепо. Игры мирного времени: жмурки, классики и прочая девчачья ерунда не привлекали, да особенно и не разыграешься в ожидании обстрела или бомбежки. Велосипедов нет, мячей нет, куда-то все мгновенно исчезло. Возможно, и даже наверняка, во дворах и подвальчиках тихо во что-то играли один-два маленьких человечка. Своих игр в это время не помню. Возился с собакой, с кошкой, что-то первобытное рисовал, читал, в остальное время просто сидел и боялся.

Пришли оккупанты. Примерно на два года исчезла военная война, наступило военное затишье. В немецкой школе на переменках возобновились групповые игры. Тон задавали дети сельских окраин города. Их было большинство, война не так сильно их сокрушила. Они водили забытые деревенские хороводы, играли в патриархальные игры наших предков, такие, как «Море волнуется, раз!», «Гарю-гарю, бей», «Бояре, а мы к вам пришли». Игры сопровождались песнями-речевками. Смысл игр был до крайности примитивен: на определенном расстоянии друг от друга выстраивались две шеренги участников, и начинались какие-то хоровые переговоры, перебежки. Шел примитивный флирт.

На окраине, рядом с Карантинной слободкой, где поселилась наша семья, на обширном пустыре шли другие игры, более мужественные, в духе времени. Играли оставшиеся в живых одни мальчишки. «Свайка» – бросание ножа в очерченный на земле круг. Я тогда из книг знал, что в давнее «Смутное время» а царевич Дмитрий в Угличе, играя в свайки, упал на нож и убился… Будучи мальчиком впечатлительным я боялся, но играл. Игры в отмерного, в коновода, в козла – жесткие, безжалостные, требовавшие сноровки, силы, отваги и нахальства, лозунг «И пусть победит сильнейший!» – не пустой звук.

Играли в деньги, на мелочь. В ход шли и советские, и оловянные пфеннинги, и желтоватые лёвы. Играли в «Пристеночки» и «Пожара» (ударение на последнем слоге), в «Орёл-орешка». Мальчики из приличных семей подвергались преследованиям и репрессиям со стороны взрослых. Басота из Карантина плевать на все хотела. Они всегда выигрывали, так как обладали сверхкритической массой звонкой монеты. Покинуть игру до полного проигрыша не смел никто. Железное правило: во

время игры в долг не давать, в долю не принимать. По окончании игры проигравшему выдавались одна-две монеты. С выигрыша!

Обычной забавой было делать «самовар» из винтовочного патрона. Процедура состояла из следующих действий. Из патрона извлекалась пуля, половина пороха высыпалась на ладонь, и пуля вновь забивалась внутрь гильзы. Сверху в гильзу высыпался оставшийся порох. Неплохо было еще дополнить это важное дело тем, чтобы сплющить камнем наружную узкую часть гильзы, но можно было обойтись и без этого. Теперь порох снаружи поджигался, гильза слегка встряхивалась и отбрасывалась в сторону. Раздавался резкий хлопок маленького взрыва. Иногда пуля вылетала из гильзы, иногда гильзу разрывало. Потом найденные останки тщательно изучались гурьбой приятелей, высказывались серьезные комментарии, сопровождавшиеся приемлемым к случаю матерным языком. Среди нас были самые смелые те, кто не бросал горящую дрянь, а продолжал держать её между пальцами, до завершающего взрыва. В таких случаях гильза предварительно не сплющивалась, так как взрыв предмета в руках мог оторвать пальцы, что, к сожалению иногда и происходило. Грешил этими занятиями и я, только вот стрелять с рук не решался, – гильза нагревалась и обжигала пальцы. Если удавалось найти снаряд от скорострельной пушки, это был праздник. Не буду вас утомлять подробностями изготовления многих вариантов подрыва такого снарядика. Скажу только, что это дело расценивалось куда как серьезнее. Мы удалялись подальше в степь, поджог «большого самовара» производился на отдаленном расстоянии, через узкую дорожку пороха, что тянулась от мастера до объекта. Мы даже ложились на землю по команде, после поджога. Вероятность поражения осколками имела место.

Немалым удовольствием было бросать длинную белую ручку от немецкой гранаты с детонатором. Это было эстетично и безопасно. Ручка была длинная, светлого дерева, гладкая и удобно ложилась в руку. А опасный детонатор располагался в дальнем конце рукоятки, и от него отходил белый шнурок с шариком. Серая, как консервная банка, головка с опасной начинкой легко отвинчивалась. В общем, Европа! Однажды в степи я нашел целый ящик с аккуратно уложенными ручками от гранат. Изнутри чистого ящика исходил приятный запах свежего дерева. Все было истрачено, да ещё и подло, для изучения реакции коз и коров. Слава Богу, физического урона животные не понесли. За время осады они и не такое видели.

Спокойным и достойным занятием считалось поджигание черных трубок артиллерийского пороха с помощью

увеличительного стекла. Личной опасности никакой. На зависть всем пацанам, у меня была «увеличилка» диаметром 150 мм, в металлической оправе. Порох вспыхивал мгновенно, как только острое и яркое пятнышко фокуса света от солнца касалось его особой огненной стати. Если удавалось достать трубочки коричневого дымчатого «свистящего» пороха, так на нашем языке мы его называли, забава становилась ещё интересней. Дело было в том, что притушенная после появления пламени трубочка пороха начинала дымить и прыгать непредсказуемо в разные стороны, издавая громкое шипение, а иногда свист и хлопки.

Трассирующая пуля с красной краской на кончике оставлялась на ночь, когда темно. Тыльная сторона пули расковыривалась иголочкой, сверху досыпался порох из гильзы. Затем пуля осторожно (!), чтобы не рассыпать порох, вкладывалась в кожицу надежной боевой рогатки, поджигалась и, как только начинала сверкать осветительная ракетная смесь, выстреливалась и красивой звездочкой летела по дуге в небо. Пуля с кончиком, окрашенным черной краской, – разрывная, считалась опасной. Она годилась только для того, чтобы бросить её в костер и ждать неопределенное время, когда рванет. Что-то от героических предков с их «русской рулеткой». Та же дурацкая удаль. Кто останется у костра или подойдёт поближе – настоящий пацан. Кто из разумных отойдёт, так этот трус.

В воронках от бомб и снарядов среди стреляных гильз от зенитных снарядов можно было отыскать и целый снаряд. От гильзы болванка отделялась после постукивания ею по камню. Из темных недр гильзы извлекался длинный шелковый мешочек с порохом в виде трубочек, напоминающих макароны. На самом дне лежала круглая, плоская подушечка с короткими, ноздреватыми обрезками рыжего пороха. Развинчивать болванку снаряда из ребят моего окружения никто не решался. Случаи взрывов снарядов и гибели мальчишек нам были известны.

По соседству с нами, через двор, жила семья: дед, бабушка, солдатка мать, к тому времени уже вдова, и трое детей. Старшему Ивану было лет 12, среднему, не помню имени, лет 8, и младшему, совсем маленькому Виталику – года три-четыре. Однажды я случайно глянул на их двор через старый дощатый забор. Посреди двора трое мальчиков, присев над чем-то, деловито стучали молотками. Звук ударов по металлу привлек мое внимание. Я перелез через забор, теперь меня отделяла от ребят низкая каменная кладка, и стал собираться перелезть и через эту преграду. На мгновение меня что-то отвлекло, и я отвернулся, в это же время грохнул взрыв. За короткое время тишины я стремглав, не оборачиваясь от страха, вернулся к

своему дому. Сразу же услышал крики и плач. Там за заборами творилось непередаваемо страшное. Потом стало известно, что старший и средний сыновья погибли на месте. Младший Виталик был сильно ранен, но остался жив. Мы потом встречались, он дружил с моим младшим братом.

Как-то весной по дороге в школу примерно в пятнадцати метрах от себя я увидел моего ровесника Марата. Он с силой бросил на чугунный водомерный круг какой-то предмет, потом присел над ним и стал бить его камнем. Сейчас будет взрыв, мелькнуло у меня в голове. Тут же рвануло, и мальчик с окровавленной, безжизненно висящей кистью побежал в сторону дома. Искалеченная, не работающая рука осталась на всю жизнь.

Рыжий Женька и его брат, из дома напротив, нашли предмет, который знатоки именовали его стабилизатором от мины, старый и ржавый он давно валялся на виду, мы иногда перебрасывались им как камнем. И вот ребята решили расчленить его. Во время их работы над ними склонился мальчик по кличке Тяптя, страдавший ДЦП. Взрыв унес жизнь Женькиного брата, а рыжему Женьке выбило глаз и искалечило руку. Стоявший над ними Тяптя не получил ни царапины. Воистину, Господь бережет дураков и убогих.

Можно ли отнести к игрушкам рогатку или это боевое оружие? Скорее всего, и то, и другое, по обстоятельствам. Я делал рогатки сам, научился еще до войны у старшего брата. Получалось неплохо, имелось одобрительное мнение знатоков. Для создания оружия нужна была резина, желательно красная, как более эластичная и рогачик, который вырезался из куста сирени. Рогачик имел ручку и V-образный развилок. Пространство между рожками должно было равняться трем пальцам. Оптимальный снаряд для рогатки – шарик от подшипника, да где их наберешься. Стрелять бессмысленно камешками мне быстро надоедало, по птицам не стрелял потому, что никогда не попадал. Поэтому менял рогатки на какую-нибудь ерунду. Рогатка, обнаруженная родителями, отбиралась и уничтожалась в печи.

Ещё более опасной была игрушка-оружие, которая именовалась «каштанчик». Почему «каштанчик»? Не ведаю. Могу только предположить, что когда-то из него стреляли коричневыми лакированными плодами каштанового дерева. Устройство, о котором я здесь рассказываю, было не что иное, как боевая праща, состоявшая на вооружении у воинов Херсонеса, на земле которых теперь жили мы, обыватели Севастополя. Оружие, между прочим, смертельно опасное. Библейский герой маленький Давид убил великана Голиафа метким броском камня из пращи

прямо в голову балбеса.

Мне сдается, что я первым возродил это оружие к жизни в ареале, который теперь называется Гагаринский район. Шел 1944–1945 год. В памяти всплыл увиденный перед войной в руках старшего брата «каштанчик». Праща, сделанная мной, отвечала всем параметрам боевого оружия. Вкладыш для камня из короткого обрезка толстой кожи, с полуразрезом посередине для плотного обхвата снаряда, то есть камня. К ушкам этого отрезка плотно прикреплялись шнуры из сыромятной кожи. Длина пращи – от талии до колена. На конце одного шнура – петля для закрепления на указательном пальце, другой свободный конец зажимался в кулаке. Техника стрельбы: отыскать гладкий камень, округлой формы, вложить в середину вкладыша, надеть петлю на указательный палец правой руки, другой конец пращи зажать в кулаке, интенсивно раскрутить пращу и, уловив нужный момент, отпустить свободный конец, разжав кулак.

Первый запуск камня поразил меня. С «боевой позиции», с пригорка над Херсонесским шоссе, основательно раскрутив пращу, уловив необходимый ритм и время, я произвел «выстрел». «Каштанчик» издал резкий хлопок цыганского бича. Со злым жужжанием камень вырвался на волю и с неожидаемой скоростью перелетел шоссе и упал где-то далеко в загородной балке. Поразительная новизна полученного ощущения. Нужен китайский иероглиф, чтобы передать множественность ощущений. Язык здесь формален, бледен и скуден. Зрителей, зрителей не было! Правда, лёгкий флер этических нормативов хилой цивилизации, переданный мне генетически, бубнил из подкорки: «Опасно! Будь осторожен. Не делай этого, Дадли!». Однако, когда я показал «машину» другу Махмуту, мальчику-татарину, в голове его замелькали кочевые костры, табуны, стены древней Казани. Он оценил практическую ценность оружия для нанесения дальних и поэтому безнаказанных ударов по чужим окнам. Да и вообще, просто так, без умысла, стрельба с помощью пращи доставляла удовольствие. Прельщала возможность так небывало далеко забрасывать камень. Освоение нового оружия далось Махмуту с трудом. Необходимое чувство ритма отсутствовало у сына далеких степей. При первой же раскрутке пращи ему удалось хлестко, как кистенем, дать себе по башке. Но упорства занимать парню не было нужды (кстати, благодаря упорству в юности он стал хорошим боксером). Он взял в безвозмездную аренду мою пращу, тем более, что я остыл к этому занятию. Целыми днями, лишая себя удовольствия посещения школы, он раскручивал пращу и отпускал жужжащие камни все дальше и дальше. Первые дни ему удавался только разнонаправленный полет камней. В

силу малонаселенности района людьми и животными совпадение траектории полета камня с указанными объектами, слава Богу, не происходило. Потом он изрядно поднаторел в этом деле. Далекий звон оконного стекла и ругательства пострадавших приносили профессиональному пращнику заслуженное удовлетворение. Но и его слава утомила. Бросил он это дело и вернулся на круги цивилизации.

Однако идеи витают в воздухе. Вскоре я увидел «каштанчики» в руках ребят из Карантинной слободы. К слову, парни этого района отличались хулиганско-бандитским уклоном. Там в Карантине на вершине небольшого холма стояла школа № 19, где учились эти ребятки, причем далеко не все. В эту школу после освобождения города «загудел» я, в четвертый класс. Там-то я и увидел первое сражение между «городскими» и «карантинными» с применением рогаток и пращей. Только выйдя за стены школы мы (городские) увидели через балку на склоне противоположного холма живописно рассеянную ораву оборванцев. В нашу сторону летели ругательства и камни из пращей. Причина нападения: традиционно беспричинное неприятие слободскими городских. Поползновений к сближению для более эффективного боя толпа не проявляла. Чувствовалось отсутствие лидера. Но вот дурак нашелся. Им оказался трижды третьеклассник, переросток по кличке Сигизмунд Колоссовский (был кинофильм с таким названием, а фамилия парня, на самом деле, была Колоссовский, имя было другое, попроще).

Чтобы возбудить движение и насытить отвагой свое кодло, бедный Сигизмунд за «щёчки» взведенного пулеметного затвора вставил неразряженный патрон (вот дурак) и направил в нашу сторону (ещё раз дурак). Он вытянул руку на манер дуэлянта (новый Дантес) и щелкнул затвором. Прогремел не выстрел, а взрыв. Пуля никуда не полетела, но медную гильзу разорвало и мелкими осколками ранило руку отважного воина Сигизмунда. Появилась кровь, перепуганный вожак заорал. Командир в беде! Его окружение бросилось прочь от него и исчезло за развалинами домов. Помощь оказали наши старшие ребята, отвели в школу, а оттуда в больницу. Рука Сигизмунда зажила без последствий.

12. Тачка

Тачка на подшипниках. Такое изделие детских рук, для катания по склонам шоссе или по асфальтированным тротуарам было в моде при немцах в 1943–1944 годах. Реже такую тачку использовали для перевозки грузов, но опять, же только по гладкой поверхности. По обычной земляной дороге она не катилась.

Тачка представляла собой плоскую доску такого размера, чтобы на ней кое-как могло уместиться тельце юного гонщика. Сзади на деревянную ось насаживались два подшипника. Спереди на подвижной поперечной планке, выполняющей роль руля, размещался один подшипник диаметром побольше. Размеры подшипников определялись сиюминутными возможностями мастера. Благо поверженной техники было в достатке, а вот выбить подшипник из его ложа бывало порой очень трудно. У меня с этим проблем не было. В мастерской у отца в ассортименте валялись подшипники разного калибра. Я бездумно щедро раздавал их приятелям и случайным просителям. Совсем неожиданно запасы иссякли. Папа был сокрушен, как можно было так нерачительно распорядиться таким богатством. А мне было ничего, мне было все равно. Возможно, глубоко в крови сидели выкрутасы какого-то польского шляхтича Ковальского, транжиры и мота, пустившего род по миру. Сомнительная примесь польской крови шла по отцовской линии, к его матери Марии Матвеевне от её родителей, среди которых кто-то был из польского рода Ковальских (а может быть Коваль, что тоже ничего, только уж скорее еврей).

Но поедем дальше, не фигурально, а конкретно, на тачке. Единственным подходящим местом для катания поблизости от дома был отрезок шоссе от Тюрьмы до развилки на Карантинную слободу. Шоссе безжалостно было изрыто воронками от мин и снарядов. Но это обстоятельство как раз придавало спуску на тачке особую прелесть. Нужно было, не сбавляя скорость, лавировать между воронками. Своеобразное сочетание: слалом-бобслей. Правда, слова такие нам не были известны. При спуске тачка издавала громкое шипение очень низкого тона. Для того, чтобы тачка катилась еще быстрее и громче гремела, полагалось перед началом пути помочиться на подшипники и засыпать в них придорожный песок. Повторения таких дел приводило к полной расхлябанности подшипников, и такая тачка уже грохотала как танк.

Мне строжайшим образом запрещалось появляться с тачкой

на шоссе. Папа наказывал: «Смотри, какое густое движение автомобилей. Ты думаешь, немец остановится или объедет тебя? Чёрта-с-два! Раздавит и не оглянется». (Не ходите, дети, в Африку гулять!) Но рискуя быть и раздавленным и наказанным родителями, а так как одновременно такое произойти не могло, я, хоронясь и таясь, неведанными бурьянными тропами, спускался к шоссе. Трепеща в вожделении от предстоящего удовольствия и от раскаяния нарушения завета, я начинал свой тачечный спуск «опасный как военная тропа» (В.Высоцкий).

И вот однажды, когда я распластанный на тачке, почти на нулевом уровне с землёй мчался с грохотом, крутясь между воронок, на середине пути дорогу преградила гигантская фигура отца. Такая же гигантская тень накрыла меня и окрест. Бег ракеты-носителя был резко остановлен подставленным громадным солдатским ботинком. Мощной дланью, ухватив за рубашку где-то посередине туловища, отец отлепил меня от тачки и положил рядом. Потом взял тачку и, высоко подняв её над головой, со всей пролетарской ненавистью и отцовской любовью с силой профессионального молотобойца хряпнул её об асфальт. Вдребезги, вдрызг, в пыль разлетелось средство запретного передвижения. Молча, без попреков и физического воздействия он громадной кистью обхватил тоненькое запястье своего инфанта и повел домой. «Клава!» – это маме. «Он катался на шоссе». «Ох, Боже мой!», – воскликнули мама и бабушка. Презрительно из деревянной люльки-корыта глянул маленький братик. «Я вот никогда не буду таким», – хотел он сказать, но почему-то промолчал. То ли словарный запас был ещё не вполне, то ли он все же сомневался на свой счёт. На сём всё и закончилось.

13. Снег

Снег в Севастополе в дни моего детства и отрочества, а это несколько лет перед войной и в годы войны, был крайне редким явлением. Мне не помнятся такие зимы, чтобы, выпав, снег продержался на земле более 3–4 дней. Обычно он выпадал тонкой плёночкой, не годной к практическому использованию, а именно к катанию на санках. Мальчишкам-то что нужно? Редкий гость, настоящий «Большой снег» шел крупными мокрыми хлопьями, падал вертикально, торжественно и красиво. «Идут белые снеги, как по нитке скользя». Наступал веселый светлый праздник. За окном и на улице разливался мягкий ровный свет. Обгоревшие остовы домов, развалины становились живописными и даже красивыми. Приходила такая тишина, что глохли звуки недальнего боя. Береговая полоса: мыс Хрустальный, Артиллерийская бухта, Приморский бульвар белым кружевным платком окружала серую отяжелевшую воду – сказочно, но сурово. Спортивная вышка для прыжков в воду, что раньше стояла на краю Хрустального мыса, превращалась в белый обелиск.

Если к вечеру подмораживало, то снег лежал еще сутки, а потом противно теплело, начинался меленький подленький дождичек. Снег таял на глазах. Под ногами начинала чавкать ноздреватая серая масса мокрого сахара (продукт, о котором мы давно забыли). Ноги в матерчатых бурках (обувь военных лет) без калош мгновенно промокали. Бурки превращались в тяжелые мокрые тряпки, плотно охватывающие ноги. При каждом шаге из-под ступни, пузырясь и шипя, вытекала мутная водичка. О, где эти прекрасные калоши, черные блестящие, остро пахнущие резиной, с красной суконной подкладкой внутри, фабрики «Красный треугольник». «Мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и Татоше!». Далеко-далеко за линией фронта эта фабрика и делает, наверное, теперь не калоши, а снаряды. «Все для фронта! Все для победы!» – лозунг тех дней.

Снег исчезал, оставаясь в тенистых закоулках. Этими остатками можно было ещё играть в снежки. Правда, попадание такого тяжелого, как из стекла, шарика в голову несло опасность боевой травмы.

Перед войной при хорошем снеге детское население улицы Подгорной каталось на санях по крутому брусчатому спуску, начинавшемуся от дома, в который упала первая бомба. е Рядом с этим домом круто в гору поднималась каменная лестница, ведущая к 6-ой Бастионной и далее к спуску в Карантин. Смелые подростки, большие мальчики начинали спуск на санях по

ступенькам лестницы, самые отважные – с самого верха. Почти цирковой аттракцион сопровождался пулеметным треском на ступенях и гулким прыжком на горизонтальных пролётах. К концу адского полета сани набирали приличную скорость, последний прыжок был самым высоким и самым дальним. Иногда он заканчивался трагично: сани от удара о брусчатую мостовую разлетались на составные части и мелкие щепки. Герои, как им и подобает, вели себя хладнокровно, достойно, не показывая полученные увечья. Сани в основном были самодельные, сбитые из сплошных деревянных досок, на металлических полозьях. Полукруглые узкие металлические полозья считались вершиной технического совершенства. Хорошими также считались полозья из медных трубок. Фабричные сани, напоминавшие нарты, были редким явлением. Отношение среды к ним было высокомерное: мы не любили богатеньких. Да и ход у таких алюминиевых изделий был тугой, без наката. Севастопольская манера спуска на санях, лежа на боку и управляя далеко отставленной назад ногой, считалась наилучшей по маневренности и лихости. Езда с ногами вперед презиралась, считалась «бабской». При хорошем снеге и скользких полозьях, не сбавляя скорости при пересечении трамвайного пути на Артиллерийской улице, смелый ездок проскакивал к повороту мимо Коптильни и далее по Банному переулку мог доехать до начала базара.

На всю жизнь запомнился снег зимой 1943 года. Зима заканчивалась, время шло к Масленице. Несмотря на оккупацию, жизнь севастопольских обывателей продолжалась в привычном для людей ритме. Да, голодно, да, холодно, да, нет жилья! Но жить-то хочется. И мы жили-выживали, кто как мог. Обычные детские радости – праздники, Ёлка, подарки, игрушки были недоступны. Радостью стали краюшка хлеба, кусочек сахара и, конечно же, снег, но такой, чтобы можно было кататься на санях.

Вот такой снег, снег-подарок пришел. Сереньким вечером какого-то мартовского дня мы с отцом заканчивали пилить дрова для печки. Маленький дворик, козлы для бревен, двуручная пила да топор. Над головой маленький квадратик неба. Очень быстро небо над нами заклубилось темными низкими облаками. Я выбежал на улицу. С моря на город двигалось нечто, ранее не виданное. Почти черное у горизонта, это нечто серыми, бешено вращающимися громадными клубами закрыло за минуту полнеба, а потом также быстро и всю остававшуюся синеву. Тревожное и радостное чувство проникло в детскую душу. Ну, сейчас что-то будет такое! И действительно, с неба начал падать «Свет». Хлопья величиной с мою ладонь ровно и медленно стали тихо опускаться вокруг. Иногда этот царственный ход прерывался и, боясь, что

уже все, больше не будет, я начинал, молча молиться. Делать этого я не умел, молитв не знал, но как высоко, чисто и наивно было мое моление о снеге. Было ощущение, что я один-одинешенек (а может быть, так и было) предстою перед чем-то огромным и великим. И снег начинал идти вновь! Чудо! И в старости своей я вспоминаю те мгновения и с улыбкой думаю: «А вдруг, на самом деле, было чудо?». Далеко потом, прочел у Н.Гумилева: «Лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь…». Аналогии с великим поэтом не смею провести. Написал это только для красивости. Да и упомянуть о любимом поэте очень хотелось и о сердечной тоске, что возникает, когда вспоминаю, что кавалер двух «Георгиев», светлый, гениальный человек был расстрелян. Что же это за Родина, что за страна, где расстреливают поэтов?!

Снег шел всю ночь. Утром, на восходе, меня разбудила бабушка Мария. Ей не терпелось увидеть ликование внука. Да и торопиться имело смысл, облака ушли и из-за края Чатырдага, хотело выпрыгнуть солнышко, чтобы вмиг покончить с красотой.

Я открыл двери во двор, у порога наготове стояли санки. Снега было по колено, в белом саду притаилась голубоватая тишина, на верхушках деревьев мерцали желтые зайчики. На мне большой армейский ватник, немецкие кованые сапоги и офицерская шапка ушанка с темно-зеленым следом от красной звезды. Скорей, скорей на улицу и далее, на крутую горку от улицы Щербака до Херсонесского спуска. Выбежав на пустырь перед останками сгоревшей пятой школы, я замер перед красотой и величием панорамы. Передо мной лежало ровное бело поле, надо мной, громадный синий купол. Через черные остатки окон школы прямо в меня летели золотые стрелы. Я хорошо помню, из меня невольно вырвался звериный, восторженный клик молоденького зверька. Такого гармоничного слияния: потерянного себя в Природе не было более никогда. Вокруг, ни одной живой души. Тишина. Продолжая повизгивать, я начал бег через поле к заветным рубежам удовольствий. Бежать было трудно, алиментарная дистрофия давала о себе знать. Я задыхался, вяз в снегу, но Бог мой, как я был рад и счастлив!

Как мало в этой жизни надо,
Нам, детям, – и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном
Найти пылинку дальних стран —

И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман! (А. Блок)

Вот я у цели. В начале короткий крутой спуск, градусов под 40. Далее более пологий и длинный, но метров через 15 следовало проделать крутой поворот, перед невысокой стеной, огораживающей дорогу от крутого обрыва. Сбавлять скорость, тормозить не рекомендуется, иначе до Херсонесского спуска не докатишь. Для выполнения виража нужны сноровка и смелость. Ранее спуск в таком режиме я ещё не выполнял, но сегодня радостное возбуждение вело меня на подвиг. Спуск длился не более 4 секунд. Рыхлый снег не позволил круто повернуть, и с маху я влип лицом в каменную стенку.

Сухой, резкий удар. Боли я не почувствовал. Тем удивительнее было появление струйки крови из носа. Пробив толщу снега, кровь нарисовала зигзаг, потом уменьшающуюся линию капель и остановилась. Я был мужественно спокоен, вокруг ни души, и помощи ждать не от кого. За стеной среди развалин в небо торчала стрела минарета мечети. Отец говорил, что над входом в неё по-арабски написано: «Спешите каяться, пока смерть не настигла». Раскаяния не было во мне. К случаю, наверное, больше подходили слова Спасителя в ответ на предложение искусителя броситься вниз с крыла храма: «Не искушай Господа Бога твоего». Я приложил к носу комок снега (интересно, откуда появилось знание первой помощи при носовых кровотечениях?). Теперь, размышляя о происшедшем, я высоко оцениваю достойное поведение маленького мальчика, без криков, плача, без паники. Думается мне, что в те времена все пространство было насыщено невидимой энергией бесстрашия и мужества. Неведомая форма воздействия благодатно вошла в начинающийся процесс формирования личности. Катание возобновилось. Появились мои хилые сотоварищи и братья. Такое редкое тогда громкое веселье продолжалось до вечера. А на другое утро снег растаял. Праздник кончился.

14. Медицина

Я вынужден повториться о том, что все написанное здесь есть результат виденного мной лично, моего участия, в происходивших событиях, а также слышанного от людей моего окружения, как взрослых, так и моих сверстников. Так вот, что мне известно о медицинской помощи, оставшимся в живых горожанам. Здания гор. больницы № 1 были изрядно покалечены, но остались кое-какие пристройки, особенно под лестничными клетками. Объем медпомощи мне был неизвестен, но однажды у меня заболел живот, и мама показала меня пожилой женщине в белом халате, которую мы нашли в однокомнатной коморке одноэтажного здания внутри больницы. Она пощупала мой живот и заставила сдать кровь на анализ в такого же рода комнатке с черной голландской печкой (тепло было необыкновенно). Боль в животе прошла сама. Тем не менее, меня заставили сходить за результатами анализа. В маленькое квадратное окошко на улицу мне просунули бумажку и сообщили, что все нормально. Мама сказала, что я придуривался, и это была правда – в школу не хотелось. Потом, значительно позже, зимой 1943 года я относил что-то на анализ и через два дня по приказу мамы ходил забирать результат в какое-то медицинское учреждение, расположившееся в полуразрушенном здании Института курортологии им. Сеченова.

И еще подтверждением тому, что медицина всё-таки работала, были благополучные роды моего брата. Не знаю, много ли родилось детей в Севастополе за период оккупации, но 25 августа 1942 года в роддоме при Первой городской больнице родился мой брат. Мальчика назвали Виктором и окрестили в часовне при храме «Всех святых». Он стал моряком. В чине капитана второго ранга принимал участие в обеспечении запуска космических кораблей.

Как я понимаю, медицина, о которой я писал выше, относилась к муниципальной. Но была и частная медицина, известная мне в лице двух врачей, Свешникова и Гриднева. Доктор Свешников, профессор, жил недалеко, на ул. Частника в собственном солидном особняке. Парадная особняка, по моим представлением, должна была быть такой только у врача: ступеньки, чугунная узорчатая ограда площадки перед массивной двустворчатой дверью, звонок (крутить ручку-бабочку). Когда брат Виктор заболевал, меня посылали с запиской к доктору Свешникову. Записку принимала безликая особа и спустя время сообщала, что придут, и когда. Профессору Свешникову было

далеко за 80, он еле ходил и очень плохо слышал. Он приходил, мыл руки и обследовал брата, мама говорила ему слова громко прямо в ухо. Давались определенные врачебные рекомендации, и назначалось возможное по положению дел лечение. Доктору вручался гонорар. Брат почему-то поправлялся. Доктор Гриднев вызывался к нам однажды, в связи с серьезностью положения: у нас с братом, как выяснилось, начиналась корь. Помню, что единственный раз в жизни бредил, четко запомнился переход от бреда к яви и обрывок фразы, вытащенный из бредового состояния. Мы поправились, без осложнений. Слава советским докторам!

Брата крестили, когда он подрос, наверное, в годовалом возрасте. На имени Виктор настоял я, а почему, не знаю. Возможная версия – так звали брата соседской девочки, с которой мы до войны играли в куклы (какой стыд). Тем не менее, имя Виктор от «Виктория» – победа, совпало с профессией военного. Им, военным, никак нельзя не побеждать всех: и кто враг, и кто шевелится. Виктор-победитель, моё имя – Георгий, неизбежно сочеталось с победоносец. Не многовато ли на одну семью победителей? Не скромно, но приятно? Однако, когда я начал учить латынь, то узнал, что Георгий вовсе не Победоносец, а в переводе землепашец (труженик). Равновесие восстановилось. Но все-таки как романтично: «…Святой Георгий тронул дважды, пулею не тронутую грудь» (Гумилев)

Так вот брата крестили в маленькой, уцелевшей от варваров часовне при «Всесвятском» храме. Сам храм представлял собой мерзость запустения. И хоть поблизости не было ни одной воронки (или я ошибаюсь?), все стекла в окнах были выбиты. Какая дрянь, походя, для развлечения сделала это? Двери надежно заколотила чья-то хозяйская рука, поэтому проникнуть внутрь храма можно было только через окно. Узорные решетки, которыми были забраны окна, чьей-то дерзкой рукой были выгнуты и частично выломаны. Потом я понял, зачем это было сделано. Внутрь храма, он – наш единоплеменник, славянин, проникал, чтобы оправиться. Когда я заглянул в окно внутрь храма, то был поражен: весь пол был завален кучами дерма, битой штукатуркой и кирпичом. Последние служили опорой для передвижения среди необъятного моря нечистот. Какую бы ненависть я не питал к захватчикам, уверен, немецкий солдат не сделал бы этого, хотя бы из простого рационализма. Ведь вокруг столько свободного, защищенного кустами и деревьями пространства! Зачем ломать решетку и лезть внутрь святого места? Нет, мы русские не такие, наплевать себе в душу, а заодно и другим – наша первейшая задача.

Не помню, у какого писателя я прочел, что он был удивлен обилием дерма во время войны. Именно состоянием и положением людей во время войны он находил объяснение этому. Я могу это подтвердить. Я видел целые поля человеческих отходов, развалины Севастополя находились в таком же состоянии. Удивительно, людей нет, а дермо есть.

15. Троицин день

В первый год «под немцем» наши нас не бомбили. Как странно звучит теперь такая фраза, чтобы нас, советских людей, наш мертвый Севастополь, могла бомбить наша краснозвездная крылатая гордость. Примерно год мы прожили во внезапно наступившей непривычной тишине. Тишина казалась плотной, устойчивой и навсегда.

Стала выходить хилая желтенькая местная газета. В ней сообщалось о победном марше доблестных воинов «Вермахта» по нашим землям, теперь уже очень далеко от нас. Но иногда к нашему одинокому домику подползали слухи: «Немцев бьют». Однажды отец, вернувшись после очередного выхода в море к рыбным ставникам, рассказал, что к ним на причал подошел немецкий офицер и попросил немного свежей рыбки. Дали, чего уж тут. Офицер присел на перевернутую лодку, достал пачку эрзац сигарет, предложил рыбачкам и закурил сам. Немец немного говорил по-русски. Произошла беседа жестов и ломанного русского языка. Прежде всего: «Ну, что война? Долго? Когда?». Немец открыл офицерский планшет с картой. Показал карандашом: «Сталинград. Гитлер капут!» Небрежно бросил карандаш на планшет, и он по наклонной, издавая граням, звук маленького танка, прокатился через всю карту к границам Германии. Отец в рассказе подчеркнул понимание немого символичного жеста. Я запомнил.

Докурив сигарету, немец встал, подозвал денщика и передал ему пакет с рыбой, небрежно коснулся двумя пальцами козырька фуражки. Четким механическим шагом, стройный, элегантный и даже красивый, но все равно враг, «ЧУЖОЙ!», двинулся по тротуару между развалин и растворился в их перспективе навсегда.

Вскоре после этого начались бомбовые налеты нашей авиации. Это были уже не слухи, а явное подтверждение: «Наши идут!». Мне кажется, что сначала бомбили только по ночам, при ярком мертвящем свете специальных осветительных ракет на парашютах. А запомнился мне навсегда массированный дневной налет, о котором и хочу рассказать.

13 июня 1943 года был православный праздник Святой Троицы. Стоял нежаркий, ясный день начала лета. К середине дня вся родня собралась на улице Батумской, у бабушкиной сестры Ефросиньи Ольхиной, чтобы по обычаю предков отметить этот день. Ждали моего отца, который утром ушел в море с рыбацкой артелью.

Еще оставался целым единственный двухэтажный домик на четной стороне улицы Батумской, на самом верху холма. Здесь в полуподвале и жила семья Ефросиньи Васильевны. Противоположная сторона была вся разрушена, и нам детям, моим братьям и сестрицам, был виден весь город: главный холм, Северная сторона, внутренний рейд, равелин и часть морского горизонта. Я заметил первым, как из-за обреза горизонта появилась первая эскадрилья двухмоторных штурмовиков. Очень быстро они оказались над нашими головами. На крыльях были четко видны радостные красные звезды. Полет самолетов казался торжественным и грозным, они несли долгожданное возмездие. В окружении зенитных разрывов пролетели немного дальше и начали пикировать над Южной бухтой. Послышались множественные взрывы, и из-за главного городского холма поплыли черные дымы. Отбомбив, самолеты уходили на северо-восток, в глубину полуострова. Они быстро уменьшались, превращаясь в темные черточки. Появилась еще группа самолетов со стороны Северной. Кто-то сказал: «Звездный налет». Все высыпали на улицу. Впервые бомбежка вызывала радость. Моя тетка Надежда, человек отчаянной смелости, кричала: «Родненькие, милые, дайте им! Дайте!». Вдруг один из самолетов последнего звена, еще не бомбивший, вспыхнул пламенем и, прочертив в небе дугу черного дыма, упал среди развалин где-то в районе школы на улице Советской. Горестный вздох вырвался из груди у всех наблюдавших. В тот же миг мы увидели в небе раскрывшийся купол парашюта. Быстро снижаясь, он опустился возле Памятника Погибшим кораблям. Что произошло дальше, нам не было видно. Отец в это время вел баркас и находился на траверзе Константиновского равелина. Он потом рассказал: было видно, как к памятнику бегут немецкие автоматчики. Темная фигурка летчика вытянула руку. Было ясно, что он стреляет из пистолета. Потом взрыв гранаты, и все стихло.

К обгоревшим останкам самолета по ночам неизвестные люди возлагали свежие цветы (говорили, что это дело рук подпольщиков). Немцы их убирали, но с ночи они появлялись вновь. После прихода наших я посещал это место, останки самолета еще долго лежали не убранными. Перед тем, как писать эти строки, я прошел по тем местам. Все застроено частными домами. Никакой памятной доски я не нашел.

Налеты нашей авиации на немецкие военные объекты участились. Бомбить стали и днем, и ночью. Предварительно самолеты развешивали в небе «лампы» – осветительные ракеты на парашютах. Отыскать несгоревший парашютик осветителя было мечтой мальчишек. Привязав к его стропам тяжелый предмет,

можно было бросать его с высоты. Парашют медленно плыл в воздухе и плавно опускался на землю.

Днем самолеты обычно появлялись со стороны моря, оттуда, куда садилось солнце. Мне со стороны дома на улице Спортивной было хорошо видно, как они появлялись из-за горизонта, летели над Херсонесом, ориентируясь на купол собора Святого Владимира, потом у меня над головой и далее, по направлению к Сапун-горе.

Однажды я вышел на улицу, передо мной расстилалась привычная панорама западной окраины города. Четко был виден на фоне моря Владимирский собор. Вдруг его верхнюю часть окутало облако пыли и дыма, через несколько секунд до меня долетел звук взрыва. Когда пыль осела, и дым рассеялся, стало видно, что над храмом больше нет округлого купола. Я побежал рассказать все видимое домашним. Отец вышел на улицу, посмотрел и потом объяснил мне, что немцы взорвали купол, так как он был ориентиром для наших самолетов. Немцы, у которых на форменных бляхах поясных ремней было написано: «С нами Бог», взорвали жилище Бога.

Спустя несколько месяцев после освобождения города я побывал внутри храма. Пролез через разрушенное окно, большая железная дверь была основательно забита. Внутри под куполом большая груда камней, через нее кое-где виднелись плитки старинного кафельного пола и обилие остатков человеческой физиологии. Люди потеряли, забыли и попрали чувство святости места. Когда я поднял голову, то увидел в центре купола рваный зияющий проем и растерзанные останки росписи. Почему-то было страшно.

Долгие десятилетия храм ждал своего восстановления. Наконец, это произошло! Во всем великолепии и снаружи, и внутри красуется величественный собор равноапостольного Святого князя Владимира. А мы люди живём так, как и прежде.

12 июня 2011 года именины города Севастополя совпали с днем Святой Троицы. То, что я здесь рассказал, произошло 68 лет назад плюс один день. Храни нас всех, Господи!

Уже после выхода в свет второго издания мемуаров, моя коллега Врач Васильева Е.И. прислала мне письмо, в котором рассказала о том, что памятник лётчикам всё же существует. Далее привожу отрывки из её письма.

В сентябре 1943 г. над оккупированным городом появились советские самолеты. С радостью, тревогой и надеждой следили за ними севастопольцы. Началась бомбежка вражеских объектов: затонула баржа с цементом, доставленным для строительства

фашистских оборонительных сооружений, загорелось здание морской комендатуры, разрушено железнодорожное полотно… Вражеским зенитчикам удалось сбить один советский самолет. Он упал во дворе школы № 2. Как потом установили, погибли штурман В. Надеждин, радист И. Правдивый, торпедист А. Борисов. Гвардии старший лейтенант В. К. Скробов успел выпрыгнуть с парашютом, но был схвачен фашистами и после допросов и пыток отправлен в концлагерь. Оттуда летчик бежал и через два месяца вновь вылетел на задание. Погибших членов экипажа фашисты зарыли во дворе школы, сровняв могилу с землей. Однако на следующее утро на этом месте был насыпан холмик, на котором лежали цветы. Так повторялось изо дня в день: гитлеровцы разрушали могилу, а подпольщицы Женя Захарова и Аня Маченас, рискуя жизнью, ухаживали за ней до самого ареста. Они погибли в фашистском застенке в апреле 1944 г.

Прошли годы. Красным следопытам детской туристской станции, которые долго вели поиск, стремясь установить имена погибших, удалось найти командира экипажа В. К. Скробова, а затем и родных павших героев. И в 1976 году во дворе Севастопольской детской туристской станции (бывшей школы № 2) сооружен скромный памятник. Автор памятника – художник И. А. Белицкий. Памятник представляет собой глыбу красного гранита. На лицевой стороне выбито: «Здесь 26-IX-1943 г. при выполнении боевого задания погиб экипаж самолета ИЛ-4 5 гвардейского минно-торпедного авиационного полка», ниже перечислены фамилии членов экипажа.

Приведенный здесь отрывок принадлежит следующей организации:

© 2007 «Группа энтузиастов».

При копировании материалов, пожалуйста, ссылайтесь на нас.

Всё сходится с написанным мною, кроме даты. День гибели лётчиков 26.09.43 действительно был воскресным, но по церковному календарю это было предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

По поводу количества моторов у самолета ИЛ-4. Я проверил справочники. Самолёт ИЛ-4 наименование получил в марте 1942 г.: «двухмоторный дальний бомбардировщик». Штурмовиками самолёты называются от родоначальника – ИЛ-2. Так что, в повествовании у меня по этому поводу ошибок нет.

16. Памятники

Сразу за входом в Исторический бульвар стоит прекрасный памятник, известный всем севастопольцам. На оборотной стороне памятника – надпись:

«Генералъ-адъютантъ

графъ Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенъ

"Въ воздаяніе примѣрныхъ трудовъ по возведенію севастопольскихъ укрѣпленій, составляющихъ образецъ инженернаго искусства, и въ награду за блистательную храбрость при отраженіи штурма, награжденъ орденом св. Георгія 3-й ст.»

То, что я здесь расскажу, не имеет никакого отношения к личности прославленного генерала. Приведенная выше выписка необходима, дабы трагикомическая история о памятнике не была бы воспринято как ерничанье.

В период осады Севастополя, то ли взрывной волной, то ли большим осколком, оторвало, отрезало голову у памятника генералу. Когда это случилось, не знаю, помню, что было холодно, когда я увидел безголовый памятник, возможно, это была зима 1942 года.

«Пришли немцы» – такой речевой оборот бытовал в народе. Долгое время стоял себе памятник без головы. Но вот однажды отец со смехом сказал мне: «Иди, посмотри, у памятника Тотлебену голова появилась. Только на голове матросская бескозырка, а в руке он держит свою фуражку».

Просматривая доступные мне материалы по истории памятника, я случайно наткнулся в интернете на такую справку.

После занятия города немецкое командование приказало отреставрировать памятник именитому немцу-генералу. При этой реставрации к туловищу, по недосмотру, прикрепили голову в фуражке, и, таким образом, у Тотлебена оказалось две фуражки: одна на голове, другая в руке (рассказ очевидца) [источник не указан].

Эта информация меня озадачила. До сего времени я был уверен в правдоподобности той легенды, которая имела хождение среди севастопольцев в годы оккупации. А именно, это деяние приписывалась активистам подпольной группы. Причем говорилось, что голову матроса немцы снимали, один или два раза, но она появлялась после ночи вновь.

Если здраво порассуждать, то сдаётся, что не могли педантичные пунктуальные аккуратные немцы допустить такую оплошность. Где же хвалённый немецкий der Ordnung (порядок). Появление и исчезновение головы, если такие перестановки

имели место, то их тем более нельзя приписать немцам. Скорее это проделки лихих корабельских пацанов. Приписывать такие дела подпольщикам, людям занятым серьёзной опасной работой, как то не вяжется.

Рассказ о другом памятнике совсем грустный. Памятник Шмидту П.П. и вовсе не лейтенанту, т. к. 7.11.1905 г. Высочайшим приказом по Морскому ведомству капитан третьего ранга Шмидт уволен от службы капитаном второго ранга в отставке. Это за неделю до начала восстания на «Очакове». В 1906 г. П. П. Шмидт и другие руководители восстания были расстреляны на острове Берёзань. В мае 1917 г. их останки перевезли в Севастополь и поместили в склепе Покровского собора, а 15 ноября 1923 г. захоронили на кладбище, которое стало называться кладбищем Коммунаров. Через 12 лет здесь состоялось торжественное открытие памятника Шмидту и его боевым товарищам.

Памятник этот стоит в правом западном углу кладбища Коммунаров. Перед войной мы с мамой иногда гуляли на прилегающем к кладбищу «Собачьем бульваре» – так называли севастопольцы пустырь на месте пятого бастиона. Между кладбищем и пустырём возвышалась призма памятнику 49 расстрелянным подпольщикам. Розовый, зеркально отполированный гранит памятника к вечеру прогревался солнцем до живой приятной теплоты. Мне очень нравилось лежать на гладких гранитных плитах или бегать и прыгать по ступенчатому основанию памятника. Отсюда был веден памятник П.Шмидту. На фоне дальнего морского горизонта, в лучах заходящего солнца черное знамя памятника острой иглой кололо небесную лазурь. Он был мне страшен, памятник. Под его основанием, ниже нулевого уровня, было углубление, в котором несколько ступеней вели к маленькой узкой железной дверце. Мама объясняла, что там за дверцей склеп, где и лежат «убиенные». Это-то и страшило. Я боялся приближаться к этому месту, обходил его дальней стороной, старясь даже не смотреть в ту сторону.

В близкой, за кладбищем балке, располагалась известковая печь. Не ведомо почему, этот район подвергался неоднократной бомбежке как немецкой авиацией, в осаду, так и нашими – в оккупацию. Однажды я попал под такую бомбежку, когда шел мимо, на Пироговку за хлебом. Я залёг под массивную стенку ограды кладбища, кажется уже после того как упали бомбы. Бомбовой удар был кратким одноразовым. Мелкая известковая пыль белым облаком накрыла всё вблизи и меня. Восстав из-за своего сомнительного укрытия, первое, что я увидел – белое от пыли знамя на могиле П.Шмидта. Тогда я уже не боялся

подходить к памятнику. Однажды даже спустился по ступенькам к склепу. Дверь была оторвана, и передо мной зиял темный вход, из склепа веяло почему-то теплом, а не предполагаемым холодом. Внутри было пусто. Ничего не было. На запылённом полу валялись какие-то разрозненные кости. Теперь уж не помню, когда был восстановлен памятник, вероятно, меня уж не было в городе.

Центральная севастопольская площадь знаменита сама по себе, как памятник. Её первородное имя – Екатерининская. После 1917 года площадь неоднократно переименовывалась: в 1920-е годы она называлась пл. Труда, Красной пл., с мая 1928 года – пл. III Интернационала – это уже на моей памяти, затем, в 1946–1951 голах – пл. Парадов, затем пл. Ленина и в 1957 году названа именем П. С. Нахимова.

Для меня площадь Центральная тесно связана с детством и юностью. Здесь перед войной на флотских праздниках бывали выставки корабельной техники и вооружения. Можно было всё трогать руками, заглянуть в дальномер или перескоп, покрутить послушные ручки управления лёгкого скорострельного орудия, всех удовольствий не счесть.

В первые дни после освобождения города здесь был торжественный митинг, и я видел горстку мирных жителей выживших после осады и оккупации и очень устал, т. к. очень долго ждали к началу высокого начальника (часа три на солнце, без воды). Тогда-то впервые услышал гимн Советского Союза, вместо знакомого Интернационала.

Водная станция на морском краю площади, бывший яхт-клуб, на лето становилась моим вторым домом. Здесь я впервые самостоятельно поплыл, здесь тренер Парамонов безуспешно готовил из меня пловца, здесь в секции бокса у Макеева я получил первый и последний урок, здесь в секции гимнастики меня кое-чему научили.

Рядом была Графская пристань. Отсюда мой отец в мае 1944 года перевозил на рыбачьем моторном баркасе военных, с Северной и Корабельной стороны. Несколько раз с ним ходил и я, и даже держал румпель. Сюда, на деревянный пирс, я позже приходил встречать и провожать моих военных братьев.

И, наконец, в те давние времена, можно было рано утром или, вечером, приезжать на велосипеде на площадь и гонять по асфальтированному простору.

В центре площади, как и положено, на всех уважающих себя площадях, стоял памятник. Только вот постамент памятника менял своих владельцев в зависимости от «времени года на дворе». Первый памятник был поставлен П.С. Нахимову, в 1898

году.

Далее привожу выписку из статьи Е.Шацило (Источник – блог "Севастопольской газеты").

«Но в 1928 году памятник Нахимову был демонтирован, как слуге царя и царскому адмиралу. А в 1932 году на его месте был установлен памятник Ленину. Правда, он там простоял недолго. В 1942 году его взорвали фашистские оккупанты.

Однако памятник Ленину быстро восстановили, но теперь он выглядел абсолютно по-другому.

Вот в таком виде он и простоял до 1957 года. Тогда Севастополь посетил Никита Хрущев, именно по его распоряжению был демонтирован памятник Ленину, что по советским меркам было неслыханно, и площадь стояла пустой. И только два года спустя архитектором А.Арефьевым и скульптором Н.Томским был установлен памятник, который мы видим и поныне: адмирал стоит во флотской шинели, на груди у него крест Святого Георгия 4-й степени».

Стоп, ребята! О памятнике Ленину что-то не так. Тут либо меня подводит память, либо в предложенный текст поселилась «Ашибка». Памятник не немцы взорвали, он сам упал от взрыва бомбы и указательным пальцем правой руки, вытянутой с угрозой в сторону «пгесквегного» Запад, пробил асфальт и стал указывать почему-то на центр земли, что вероятно сказалось на дезориентации пролетариата и посему мы теперь имеем то, что имеем. О катастрофе с памятником пьяно и громогласно сообщил мой дядя Шура Ольхин, по кличке «Бемс» – очевидец и белобилетник. В комментариях к событию он добавил, что теперь вождь указывает последний путь нам, оставшимся ещё в живых. Или, если всё не так, то он, вероятно, пророчествовал грядущее, войдя во «внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание существенных отношений и структуры ситуации в целом, посредством которого достигается осмысленное решение проблемы, открытие и пророчество» – так в психологическом словаре определяется состояние, называемое «ИНСАЙТ»

Довоенный памятник я помню. Вождь стоял в окружении лихих революционных пацанов. Мне хотелось взобраться к солдату с винтовкой, чтоб пощупать штык, но мама сказала, что мне нельзя, а нескольких вип-детей, что лазали по памятнику под защитой милиционера в белой кассетке и перчатках, назвала плохими детьми. Так вот первый восстановленный памятник действительно не был похож ни на что. Одинокий маленький бронзоватый человечек стоял, неестественно вывернув туловище и для устойчивости опираясь то ли на пень, то ли на задрапированную тумбочку. Пьедестал был непривычно пуст,

вождя никто не окружал и не охранял.

Потом этот памятник был заменен на памятник очень похожий на довоенный. Может быть, это был восстановленный прежний монумент с революционными ребятами вокруг, я не знаю. Вот он то и простоял до 1957 года. Потом новый памятник В.И. Ленину, теперь в окружении людей без оружия, переместился на центральный холм, перед Владимирским собором – странная улыбка истории.

ПАМЯТНИК ЗАТОПЛЕННЫМ КОРАБЛЯМ. Гордый, самый лучший памятник в мире, лицо любимого города, не столько его физическая суть, сколько его чистая, славная, великая и скромная душа. Для меня та «звезда заветная», которая вела меня по жизни, моя надежда и защита.

За время осады, – бомбежки и обстрелы, в оккупацию – запретная зона, не позволяли мне увидеться с моим любимым памятником. В первые же дни после освобождения, мы с бабушкой пришли на Приморский бульвар и к памятнику. Его военные раны, вырванный осколком кусок диоритовой колонны, простреленные крылья орла, вызвали во мне почти физическое ощущение боли и горя. Но он выстоял, а мы уж при нём.

Однако помнится мне памятник совсем другим, здоровым и веселым. Яркий летний день. Война будет потом. Сейчас весь Севастополь на пляжах. Весь берег Приморского бульвара занят телами купальщиков. Да, да тогда разрешалось купаться возле Памятника и далее под стены Биостанции, где был пляж под названием «Солнечный».

По скалистому основанию памятника ползают оголённые люди, им мало места на берегу. Безрассудно отважные, но не умелые, молодые люди прыгают с уступов, стараясь как можно сильней разбить себе голову о подводные рифы, утыканные лезвиями мидий или поломать, на выбор, руки, ноги, позвоночник. Страшным воспоминанием детства осталось, как мужики волокли по песку окровавленное тело незадачливого прыгуна. Набежавшая толпа любопытных, тесня и толкая, друг друга, сопровождала плотным кольцом несение тела, до самого входа в Приморский бульвар, к «карете скорой помощи». Детским, не затуманенным рассудком, чувствовал я исходящую от людей жажду зрелища, но не сострадание. «…В ляжках зуд. Стеньку Разина везут!» (Е.Евтушенко)

Насупротив Памятника – на щербатой высокой стене висели два громадных железных корабельных якоря. «Не может быть! Такого не бывает!» – думалось мне тогда. К моей старости они здорово уменьшились.

С этим местом связана таинственная страшная история. На

старом кладбище, вблизи от могил наших предков, лежало небольшое мраморное надгробье, с заключающей надписью: «Трагически погиб». Бабушка рассказала, что здесь похоронен подросток, которого хулиганы сбросили со знаменитой стены с большими якорями. От надгробья на меня нисходил страх и распространялся далее на стену с якорями. А ещё она рассказала, что девушкой (по моим подсчетам ей было 17), с описанной высокой стены, видела, как горел «Очаков», как солдаты стреляли в плывущих матросов, а выплывших – закалывали штыками. Ой, люли-люли. Правда ли видела? Иль люди добрые рассказывали?

17. Песенки войны.

Не помню, что бы пелись песни в моём семейном окружении в период осады Севастополя. Радио не работало, приёмники конфискован, патефон не заводили ни разу.

В записной книжке брата я прочёл «Землянку», а он фальшиво напел мне мотив. Вот и вся информация. Но вот в первый месяц оккупации выплыла песня о последних трагических днях осады, вероятно в эти дни она и была написана непрофессиональным сочинителем, а к нам дошла уж потом. Пелась песня на мотив «Раскинулось море широко». Мама у кого-то переписала текст песни, который я мгновенно усвоил и для себя напевал её. Привожу здесь текст песни, то, что помню. Может быть, для кого-нибудь это будет интересно? Может быть известен автор?

Раскинулось Чёрное море
И волны бушуют в дали,
Велико народное горе —
Враги в Севастополь вошли.

Сожгли изуверы кварталы домов,
Разрушена вся Панорама.
Не знает предела ненависть врагов,
Весь город кровавая рана.

Прощайте любимые мать и отец,
Прощайте и братья, и сёстры.
Враги принесли Вам терновый венец,
Проклятья и стоны и слёзы.

Я видел, как падал сраженный мой брат,
Но сердце моё не вздрогнуло
Зачем же нам смерти, друзья, ожидать,
Коль смертью в лицо нам пахнуло.

На пыльной дороге лежит мальчуган.
Он кровью с утра истекает,
И хмурится грозно Малахов курган,
И злоба его распирает.

Он знает недолго фашистам дышать,
Мы зверства его не забудем.

Мы можем и будем с врагом воевать
И мы в Севастополе будем.

И новый Рубо Панораму начнёт
Он наши дела не забудет
Высокое солнце над Крымом взойдет
И больше заката не будет.

Никогда мне больше не приходилось слышать эту песню. Както на День Победы, подвыпив в компании родных и друзей, я запел эту песню. На куплете про раненного мальчугана (по ассоциациям), настигла меня слеза, но равнодушие окружения, погасило бабий порыв.

В оккупацию бытовала ещё одна малоизвестная песенка, на мотив «Спят курганы тёмные». Злободневная, я бы сказал, по тем временам.

Молодые девушки немцам улыбаются.
Скоро позабыли Вы про своих ребят.
Только мать родимая горем убивается,
Плачет она бедная о своих сынах.

Молодые девушки скоро позабыли Вы,
Что у нас за Родину жаркий бой идет.

Далее шло, что гуляние с немцами за шоколад дело нехорошее. И, в конце, напоминание, что «Отмоет дождичком в поле кости белые» и последует возмездие всеобщим презрением.

На обобщающие укоры молодые девушки написали ответную песню, на тот же мотив, о том, что они никогда не нарушат верность своим парням и вообще они не такие.

Но не булка белая, маслом чуть приправлена,
Шоколад, отравленный, то же не хотим.
Есть у нас гулящие, есть средь нас продажные,
Патриоток маленький то же есть отряд.

Мы поднимем гордо грозди гнева зрелые,
Пусть же мать не плачет о своих сынах.
Страхом переполнены лица загорелые,
Злоба беспощадная теплится в сердцах.

Потом я узнал от друзей-сверстников, что варианты песни «Молодые девушки» бытовали на Донбассе и в центральной России. А вот ответная песня никому не ведома.

Вероятно, потрясения войны вызывают одну из закономерных ответных человеческих реакций – не затейливые народные песенки и это не имеет определённых географических границ. Так, вскоре после войны, прошел польский фильм «Запрещенные песенки». В фильме песенки связаны непосредственно с борьбой польского сопротивления. За них героев фильма арестовывают, наказывают. О качестве и содержании песенок не могу судить, но мелодии разнообразны и приятны на слух. Вот запомнилось. Под аккордеон, на уличном углу, мужчина без ноги, на костылях, пел весёленькую песенку: «Утки над водой, гуси над водой, пристают немцы к девке молодой».

18. Надежда.

Её звали Надежда, в быту Надя. Она приходилась мне двоюродной тёткой. Полненькая, какая-то округлая, с круглым же миловидным лицом, с врождённой хромотой на левую ногу, что ни сколькую её не портило и всю жизнь мужики липли к ней. Семейной полутайной было: хромота произошла от того, что её беременную мать, почти на сносях, пьяный муж, музыкант-трубач, ударил ногой в живот.

Весёлого нрава, всегда готовая остроумно пошутить и посмеяться. Приморский юмор на грани, – чуточку скабрезный, умеренно циничный. Она унаследовала музыкальный слух от отца и обладала сильным, хорошо поставленным контральто (пела в самодеятельном хоре и солировала). В доме был рояль фирмы «Беккер», на котором Надя сама научилась себе аккомпанировать.

Замуж вышла рано. Муж, Миша, по профессии водопроводчик, по жизни блатной и крупный карточный игрок. Видимо играл умело и удачно. В доме был достаток, и молодая чета могла себе позволять посещение ресторанов, что по тем временам было довольно дорого и совсем не по карману простому рабочему, даже такому квалифицированному как мой отец.

Однажды мы с мамой встретили Мишу утром возле рынка. Он был слегка пьян и беспредельно добр. По-видимому, ночная игра была удачной. Миша хотел гулять и предложил нам посетить ресторан. Мама отказалась. Тогда он, заметив меня, предложил купить мне двухколёсный детский велосипед, который красовался в витрине магазина детских игрушек. Тут, рядом, он блестел в большой витрине… На этом месте и теперь «Детский мир». Боже, как забилось моё сердечко, это же была моя несбыточная мечта. «Дядя, купи, купи! Мама пусть дядя купит» – кричало всё внутри. Но кто их поймет, взрослых. Отказ, праздник не состоялся.

Дядя Миша погиб в первые дни войны, но не от военных ран, а от, якобы, несчастного случая. Он странно был притёрт между бортами двух движущихся трёхтонок, оставив бедной Надежде двух детей, мальчика и девочку малютку, да финку «Козья ножка».

На похоронах присутствовали элегантные мужчины в открытых автомобилях марки «Форд». Это они устроили шикарные похороны, а вдове выдали единовременное пособие и пообещали ренту. Живут же люди!

На лишения связанные с войной и потерей кормильца пали

на Надежду, ещё новые беды. Заболела менингитом маленькая дочь. Прогноз был не утешителен. Говорили, что если выживет, что маловероятно, то останется калекой, умственно не полноценной. Бомба развалила часть дома. Пришлось своими силами восстановить часть утраченного жилья. Но, Надежда держалась и не унывала. Девочка поправилась без осложнений и последствий. Бабушка Ефросинья стала разводить свиней и Надя с младшим братом Шурой, по кличке Бемс, сами их резали и продавали мясо на рынке. Возможно легенда – Надя сама забивала животных и сама разделывала. Она начала шить примитивные простые вещи женского туалета: трусы, бюстгальтеры, ночные сорочки, детские вещички.

К бабушке Евфросинии, Надиной маме, прибился странный молдаванин Митя Михо, высокорослый, черноусый, говоривший на очень плохом руссом языке. Как говорила Надя: «Ни бельмеса. Марэ – Уарэ». В доме была нужна мужская рука и работящий Митя соответствовал. Как он очутился в Севастополе, почему здоровенный крепкий мужик не в армии? Загадка. Возможно, по обоюдному сговору Митя и Фрося поженились и взяли фамилию Михо. Что-то за этим крылось. В оккупацию Митя Михо при разгрузке немецких вагонов с пшеницей, с голодухи наелся сырого зерна и умер, как говорили: «от заворота кишок» От него осталась чужая инородная фамилия Михо на могиле, среди захоронений моих предков.

За несколько дней до прихода немцев Надя с матерью пригнали громадную «поросную» свинью к нам на Подгорную, дабы скрыть её среди развалин. «Тут у вас будут меньше бомбить» – сообщили они, исходя из законов женской логики. Дескать, Подгорная вся разрушена, и бомбить больше нечего, снаряд в одну воронку дважды не падает. Вопреки их заключениям последнюю ночь нас бомбили как никогда. Но свинья уцелела, для грядущих ещё более серьёзны потрясений.

Немцы из зондер команды, последыши настоящих солдат, вмиг обнаружили свинью. Опыт отыскивать спрятанную живность и грабить ими был накоплен солидный – Европу прошли и половину России. Безжалостно они стали выковыривать свинью из её логова. Это было трудно. Советская свинья не хотела к немцам. Не хотела отдавать свинью и Надежда. Она преуспела в борьбе, растолкав и разбросав хилых недомерков, но тут, взывая к европейской сдержанности и законопослушности, унтер-офицер пригласил её в наш полуразрушенный дом, для дипломатического разговора. Я присутствовал при сём историческом событии. Бывший зал дома был наполовину перекрыт упавшим потолком. У окна, где стоял письменный стол,

было просторней. Унтер, в отглаженной форм, в белом воротничке, в тонких перчатках, блестящих сапогах, в одеколоне и бриолине, достал элегантный блестящий кожаный планшет, вынул из него прекрасную записную книжку с монограммой, вырвал белый лоснящийся листок, извлёк красивую черную авторучку из нагрудного кармана, что-то быстро написал и протянул Наде. Он пояснил на чистом немецком языке (а то ещё на каком), что «Дойчланд золдатен унд официрен» очень любят шпик и данная советская свинья должна быть ими съедена, что это укрепит дух и силы доблестных воинов фюрера, для победы над проклятыми большевиками. А по данной расписке, где бы она ни была показана, «Надья будет полушать много дойчланд магок». Он, подчёркнуто лихо отдал честь под козырёк, потом вскинул руку и сделал «Хайль!», демонстрируя окончательное бесповоротное решение дела и окончание переговоров. Но Надежда была совсем другого мнения. Она выложила ему контр аргументы, что она сама выращивала эту свинью и большевики тут совсем ни при чем, что у неё двое детей и мат старуха, которые тоже хотят «эссен», значительно сильней немецких офицеров, что за эту блядскую бумажку ей никто ни хера не даст. И главное – свинья на сносях, вот – вот появится великое множество поросят, которыми, когда подрастут, можно будет накормить и солдат и детей. «Я. я» – сказал офицер и меланхолично махнул перчаткой своим «золдатен» продолжать.

Корявые недотепы просунули под отяжелевшую свинью лаги и, взявшись за них по три с каждой стороны, поволокли свинью по улице. Осталось навсегда в памяти: залитая солнцем разрушенная улица Подгорная, немцы, согнувшись под неимоверной тяжестью, волокут свинью, свинья, не переставая, визжит, забегая с разных сторон, Надя в отчаянии, с матерной бранью, лупит солдат руками и здоровой ногой. Поодаль мерно шагает вертикальный унтер-офицер со стеком в руке. Происходящее его не касается, истинный ариец вне презренного бытия. Процессия повернула за поворот, на спуск по Греческой улице и скрылась в тени акаций. Дальнейшее мне известно из рассказов взрослых.

Свинью приволокли к входу в какое-то военное учреждение (кажется на улице Советской). Надя бросила утомленных солдатиков и напористо устремилась к самому главному немцу. Высокий начальник выслушал её, и. уж какими чарами, просьбами она его уломала, неведомо, но он обругал унтера и распорядился свинью отдать хозяйке. Неслыханно! Непостижимо! «Дас ис фантастиш!».

Спокойно и медленно, без крика и понуканий Надежда

хворостиной погнала свою свинью домой. Понятливая была свинья.

Получилось как-то само собой, Надя познакомилась с молодым полицейским Володей, да и прожила с ним на его довольствии всю оккупацию. Жизнь была развесёлая, часто пили и гуляли, было с чего. В последних боях за Севастополь Володю убили.

На новый год Надежда появилась в нашем доме с двумя пьяными морскими офицерами, Героями Советского Союза. Один из героев прижился к ней и остался на годы. Звали его Володя. Был он никакой, потому что всё время пил и так и сгинул в неизвестность.

Наде удалось устроиться в систему Севастопольского Горторга. Благодаря особым личным данным она быстро продвинулась до заместителя начальника «Торга». Помню фамилию начальника – Утешев. Дела в «Торге» творились отчаянные. В наше семье ходили слухи о махинациях и буйной жизни там. Они стали достовернее, т. к. Надя устроила мою тетку торговать в ларьке вином и она приносила домой рассказы о нравах и быте в торговой паутине.

Надежда стала директором центрального гастроном, что был на Большой морской. Выйти из игры она уже не могла. Чувствовала, что ходит по краю пропасти и поэтому здорово и роскошно пила и гуляла. Была широка и щедра. Не забывала нас, родственников (без очереди, дефицит, скидки). Но вот ожидаемое произошло, её посадили на пять лет. Она никого не выдала, ничего не подписала и оставшиеся на свободе какое-то время помнили это, а потом забыли. Она вышла по звонку. Опять не удел. Опять бедность. Пошла работать сестрой-хозяйкой в гостиницу «Севастополь». Опять сошлась с каким-то пожилым мужиком. Дядька оказался куркулём, жадным и грубым. Попрекал Надю прошлым, нехорошо обзывал. После одной такой размолвки Надежда пошла в зал ресторана гостиницы, заказала сто граммов водки, сплясала и спела, а потом зашла в один из пустых номеров и удавилась на полотенце.

19. Лиля

Необыкновенной красоты была эта женщина. Щедро одарила её мать-природа: естественная блондинка с прекрасными карими глазами. Зная, что у неё совершенная фигура, мне помнится, ходила она одетой только в чёрное облегающее платье. Жила она недалеко, по соседству, в собственном особняке. Детей не было. Муж погиб в первые дни войны. Не было у неё никакой специальности, и делать она ничего не умела. Никогда не слышал её полное имя и фамилию. Лиля, да и всё тут, а, то и просто Лилька. Как она перебивалась в дни осады города мне неизвестно – жили мы тогда довольно далеко. Но вот пришли немцы, и зажила Лиля весёлой прекрасной жизнью в полном материальном достатке. Считалось, что она сдаёт своё довольно приличное жильё немецким офицерам. Дом с четырьмя большими окнами на улицу, парадным под железным навесом, садом за высокой каменной стеной. Крррасота!

Иногда через открытые окна была слышна музыка, развесёлые клики, «За занавесками мельканье рук!» От некоторых взрослых можно было услышать сдержанное: «Ну, вот опять блядство». Сдаётся, что Лиле удалось сколотить небольшой коллективчик единомышленниц, а вот партнёры менялись в зависимости от положения на фронтах.

Мне запомнилось погожее утро пасхального воскресения. К нам в дом заходили соседи с поздравлениями с праздником, чаще и надолго родня – похристосоваться и закусить. Я чем-то занимался на дворе, как в калитку ввалились две развесёлые бабёнки: Лиля и моя тетка Надя. Вероятно только с ночного бдения. Надежда, галдя что-то о недавней победе Красной Армии и Святом празднике похромала в дом. А Лёля подошла, ко мне, и сказав: «Христос воскрес!» впилась в мои губы таким горячим и влажным поцелуем, что у меня закружилась голова. Дура! Разве можно так с мальчиками-подростками?

Потом Лиля как бы на время исчезла, дом её затих, окна потемнели, на входных дверях повис большой амбарный замок. Ближе ко времени освобождения Севастополя в негромких разговорах моих бабушек, сопровождавшихся неопределёнными покачиваниями головами и многозначительными поджиманиями губ, я уловил весть, что Лиля немца родила. Улица, где жил этот мальчик с мамой, была тихой и малолюдной, а детей и совсем не было, так что пацана никто не дразнил его немецким прошлым… Он спокойно учился в школе. Никакие репрессии и ограничения не затронули их маленькую семью. Лиля стала торговать в ларьке

на доходном месте, возможно благодаря протекции подруги Нади. Место было знаменитое. Ларёк торговал в основном папиросами и вином и располагался сразу на подъеме от катерной пристани к выходу в город. В обычные дни торговля шла нормально, место как бы незаметное, тенистое, ну, а в дни увольнений: «Они идут туда, где можно без труда достать красивых женщин и вина».

В один из праздничных дней четырнадцатилетние пацаны с «шестого бастиона» не вполне уверенной толпой, очень стесняясь, подошли к ларьку. Желание их было скромное. По стакану портвейна «Таврический». Ведь день Флота. Тётя не откажет. За плечами друзей тётя Лилия высветила меня и сказала: «О. Жорик, да ты уже совсем взрослый» А был я очень маленького роста и никогда в жизни не пил ещё вина, да в таком большом объеме – чайный стакан. Добрая тётя, одобрительно кивая мне, как старому знакомому, налила всем хорошего, не разбавленного вина. Стандартные вопросы как папа-мама, стандартные ответы, что всё хорошо и что учусь хорошо (последнее был бесстыдной ложью) и молодому джентльмену через тридцать секунд наступило «секир башка» Не лги! Не пей! Дорогу домой я проделал на автомате. Меня вела гордыня. Вот я какой! Я дойду! Ангел хранитель печально опустил крылья и чем-то бестелесным поддержал меня со всех сторон.

Доходное место приносило Лиле приличный побочный достаток. Она оставалась, так же привлекательна и пользовалась постоянным вниманием у военморов сверхсрочной службы, людей солидных и с «положением». Господа офицеры в ларьках не выпивали и хоть и желательно, было остановиться поболтать с красивой женщиной в белой наколке, путь офицеров проходил мимо и целенаправленно к прекрасному домику из резного дерева, у входа на «Примбуль». Это было хозяйство знаменитого человека по фамилии Военблат. Уютная обстановка заведения, свежая остропахнувшая сосной крупнопетлистая стружка на полу, классный сервис, высокий ранг посетителей.

Лиля работала, мальчик подрастал, потом выучился на офицера и как-то незаметно исчез навсегда из материнского дома. Ну, а Лиля, имея завсегда под рукой «продукт», стала попивать. Вскоре посадили подругу Надю, да и многих из Управления торговлей. Произошла перестановка кадров и последние стали первыми. Поддержка и протеже пропали.

Спустя годы мы с братом, довольно положительно утвердились по жизни и продолжали движение в этом же направлении, что не мешало нам иногда, на короткое время это движение приостанавливать и как говориться «за встречу»

заглянуть в приличный буфет ресторана. И взошли мы, довольные собой, братской дружбой, погодой, и вообще всем, по белоснежной мраморной лестнице в отдалённый элитный ресторан «Дельфин».

На верхнем марше лестницы стояла седая привлекательная дама, одетая современно и со вкусом. В руках она держала изящную швабру с мокрым белым полотенцем. Лёгкими движениями она имитировала старательную прибоку совершенно чистого блестящего мрамора.

Тётя Лилия узнала нас и сделала шваброй «на караул». Она и в прежние годы, когда мы были детьми, при встрече с нами восторженно, через улицу, кричала маме: «Ой, я не могу! Да, какие же у этой Клавы (нашей мамы) прекрасные дети!». Теперь я понимаю, что все её восторги были исключительно адресованы моему маленькому братику Вите, имевшему ангельский облик. Голубые глаза и роскошные льняные кудри до плеч. Ну, ангел, ангел! Восклицание о Клавиных детях во множественном числе, я наивно и с надеждой примеривал и на себя и густо краснел. Вспоминая себя тогдашнего, в переходном состоянии от пушистого цыпленка к голенастому ощипанному пернатому существу, понятие прекрасные дети категорически не подходило.

Но в этот раз мы оба были прекрасно молоды, элегантны и хорошо воспитаны (не без манерности). Проведя краткую вежливую беду, приличествующую случаю, мы достойно разошлись по своим неотложным делам.

20. Будни оккупации

Одна из наших вдовых родственниц, чтобы прокормить двух малых детей и мать-старуху, была вынуждена вступить во временную связь с полицейским. Молодой парень из русскоязычных татар по имени Володя уже носил немецкую форму, но еще не присягал на верность фюреру. Я увидел его утром накануне присяги, когда он во дворе дома начищал до блеска мягкие кожаные сапоги гармошкой. Он мне сказал, что присяга будет на бывшей площади им. Ленина. Мне было любопытно посмотреть на эту акцию, и в нарушение родительских запретов мы с приятелем побежали туда. Но площадь была оцеплена немецкими солдатами, поэтому мы через развалины пробрались на Матросский бульвар. Оттуда была видна часть площади с несколькими квадратами построенных полицаев. Иногда долетали слова команды на немецком языке. Происходящее было непонятно, да и зрелищно неинтересно. Постояв немного и опасаясь, что нас заметят, мы убежали. Потом в доме у вдовы была грандиозная пьянка.

Несомненно, что паек полицейского Володи спас от голода семью родственницы. Он жил у них до времени интенсивного наступления наших войск в Крыму и под Севастополем. Затем, вероятно, пришла необходимость полицейским отрабатывать присягу и паек. Володя исчез. Когда город был освобожден, к вдове наведался знакомый мужчина, который ранее ушел в партизанский отряд, но знал о её связи с полицейским. Он рассказал, что на подступах к Севастополю, в пещере, партизанами была обнаружена пулеметная огневая точка и ими же уничтожена. Среди трех трупов этот мужчина узнал Володю.

В один из дней ранней весны 1943 года к нам прибежала кума Ольга Лукьянова и со страхом в глазах и голосе сообщила, что мой отец и её муж Василий арестованы и находятся в гестапо. Думаю, она ошибалась, не в гестапо, а в жандармерии, так как из гестапо никто не возвращался. В страхе и панике мы покинули дом и спрятались в глубине сада, наивно полагая, что если за нами придут, то не найдут. Так в страхе ожидания ареста мы досидели в саду до темноты, а потом возвратились в дом. Ночью я крепко спал, а мама и бабушка не сомкнули глаз. Утром пришло известие, что наших мужчин выпустили, и они ушли на свою работу в рыбартель. Их арестовали по ложному доносу соседки, у которой украли простыни, вывешенные на просушку. Потом были обнаружены истинные виновники. Отец рассказывал, что их с Василием изрядно побили резиновыми дубинками.

Немцы категорично пресекали любое воровство во всех его проявлениях.

За воровство публично были повешены у входа на Приморский бульвар два молодых человека. Об этом мне рассказывали очевидцы, мои приятели. Я смотреть не ходил. Примерно в то же время меня поразил рассказ одной из моих двоюродных тетушек. Она была на рынке, когда мимо провозили в грузовике двух парней в сопровождении конвоиров. Один из них увидел свою мать и закричал: «Мама, прощай! Нас везут на расстрел!». Другой парень в это время пытался выпрыгнуть из машины, но был пойман и избит до крови.

Через три-четыре дома от нас жил в семье паренек лет семнадцати, Виктор Чайка. Однажды я играл в саду, как вдруг в щель заднего забора протиснулся Виктор. Он попросил меня позвать мою мать. Когда мама подошла, он стал просить спрятать его, так как его повсюду ищут жандармы. Как мы потом узнали, он пытался ночью с приятелем что-то украсть у немцев со склада. Приятеля поймали, и он раскололся о соучастнике. Мама сказала, что не может рисковать детьми, да и спрятать надежно негде, и чтобы он сей час же уходил. Спустя короткое время к нам и соседям вломились с обыском жандармы. Действительно, искали Виктора. Что стало бы с нами, укрой мы беглеца? Ему удалось уйти от преследования. Когда наши вернулись, Виктора забрали в армию. Кажется, он пропал без вести.

Часы-будильник, довольно солидных размеров, увенчанный блестящим звонком, типа велосипедного, мама понесла на базар, чтобы продать или обменять на продукты. К ней подошла женщина средних лет прицениться. Сторговаться не получилось. Женщина стала отходить, и мама, желая все же продать вещь, окликнула её запрещенным немцами словом: «Товарищ!». Женщина вернулась, пристально оглядела маму и согласилась купить будильник за начальную цену. Только посетовала, что с собой не имеет такой суммы, и предложила маме принести товар к ней домой вечером по адресу на 0Лабораторном шоссе. От места, где мы жили, эта улица располагалась на другом конце города, на окраине. Тем не менее, мама с отцом отправились туда. Хозяева небольшого особняка встретили их радушно и усадили за стол. Выпивка и еда по тем временам были роскошными. За долгой беседой не заметили, как наступила ночь, а с ней и комендантский час. Ввиду этого мои дорогие родители были оставлены ночевать. Утром их хорошо накормили завтраком и надавали с собой разных продуктов для детей. Самое интересное, что про будильник как бы забыли, и он опять оказался дома. Обсудив произошедшее, мама и папа решили, что

мамина обмолвка словом «товарищ» послужило сигналом для незнакомки, что она имеет дело с подлинно советской женщиной, которой можно доверять. Видимо, она и её муж были связаны с Севастопольским подпольем, и странное предложение привезти будильник в такую даль было связано с желанием помочь людям в беде. Не исключалось и возможное приглашения к сотрудничеству, но известие о наличии в семье двухлетнего ребенка приостановило дальнейшее обсуждение этой темы.

Еще несколько загадочных историй, которым я был свидетель за период оккупации.

В доме на улице Батумской, где в полуподвале жили мои выше упоминаемые родственники, на втором этаже в хорошей квартире, невесть откуда поселилась семья Кравченко. В семье было два мальчика, Олег и Женя. С Олегом мы вместе учились в первом классе. Он здорово рисовал, как взрослый. Его брат – болезненный горбун, не учился. Зато он умел вырезать из твердых пород дерева очень похожие на настоящие пистолеты. Их отец служил в городской управе. Материально семья была более чем благополучна. Внезапно, никто не заметил, как и когда, они исчезли. Это не был арест. Присутствие немцев и их машин соседи заметили бы. Дверь в квартиру была широко распахнута, по всей квартире были разбросаны вещи и какие-то бумаги на немецких бланках, свидетельства поспешного бегства. Поговаривали о том, что они евреи и немцы об этом узнали. Однако кто-то семью предупредил.

На пустынном месте, недалеко от пересохшего ручейка, что протекал через весь город, очень быстро был построен большой деревянный особняк. На фоне окружающих развалин он выглядел неожиданным вестником другой, не здешней сказочной жизни. Точно не знаю, сдается, что коттедж был предназначен для высокопоставленного начальства, возможно, для городского головы. Детей, живших в этом доме, я видел. Мальчик лет десяти в необыкновенной прекрасной куртке, бриджах и гольфах, с бантом на шее и девочка, старше мальчика, в таких же особенных одеждах, с длинными распущенными волосами и большим бантом на голове. Меня поразила благородная выхоленная бледность их красивых лиц. Из обрывков фраз, долетавших до меня, я заключил, что их зовут Инга и Артур. С ними неотступно находилась громадная овчарка. Игры их были мне незнакомы. Они бросали с помощью деревянных шпаг цветные кольца, у них был мяч огромных размеров – моя мечта, Мне никогда в жизни не суждено было достичь такого великолепия. Но за все в жизни надо платить. Когда бои приблизились так близко, что канонада фронта была слышна сутками, домик сгорел, а его обитатели

исчезли или, наоборот, – исчезли, потом сгорел. Кто были эти люди? Может быть, мне приснился кусочек чужой сказочной жизни? Но нет, такую жизнь я увидел вновь спустя почти 70 лет. Это был растиражированный холеный достаток новых русских. И опять я смотрел на эти хоромы и их обитателей с весьма удаленной стороны, будучи теперь старым мальчиком.

Ниже Покровского собора, там, где теперь школа, стоял внушительный каменный особняк с садом, окруженный высоким забором. Массивные ворота были всегда наглухо заперты, и за забором царила спокойная тишина и глубокая тень и сырость сада. От обители веяло самодостаточностью. Там жила подруга моей бабушки Розалия Ивановна с явно дворянской фамилией Пурахина. В нашем семейном альбоме была фотография подростка в стилизованной матросской форме на фоне моря, сына этой дамы. Дореволюционная фотография явно свидетельствовала об отпрыске богатой семьи.

И вот война. Муж умер, сын в неизвестности, дом сгорел дотла. Пришли немцы. Изнеженная прошлым материальным достатком, не попранным никем достоинством, не приспособленная к трудностям барыня – одинокая старая, больная женщина, осталась без крова и средств к существованию. Наполовину утратив рассудок, она не осознавая опасности, бродила по развалинам запретной зоны в поисках предметов, которые можно было бы обменять на еду. К бабушке она приходила и приносила книги, среди которых иногда оказывались довольно ценные дореволюционные издания. Бабушка чем могла кормила её, хотя сами мы были на грани голода. Из этих книг мне достались огромные фолианты, каждый из которых вмещал почти полное собрание сочинение Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова. В эти времена я как раз пристрастился к чтению, и перечисленные книги оказались весьма кстати. С тех пор, Слава Богу, был привит вкус к чтению хороших книг. Розалии Ивановне все трудней становилось передвигаться, она все реже посещала нас. Наступили холода. У себя на пепелище она соорудила нечто вроде шалаша. Там она и умерла. Царствие небесное!

В октябре 43-го мне исполнилось десять лет. В мирное время мои дни рождения отмечались поздравлениями и подарками от всех родственников. Мама создавала атмосферу светлого праздника, пекла пироги и печения, готовила вкусную еду. Приглашались ровесники, братья и сестры. Накрывался детский праздничный стол. Теперь мне десять лет, я почти взрослый и все понимаю. Нам так трудно, что грядущий день рождения мне ничего не сулит. Нет во мне ни горечи, ни обиды. Тяжело, трудно,

безысходно и тоскливо всем.

Прекрасное тихое и теплое осеннее утро, какое бывает только в моем родном городе.

Мама и бабушка со светлыми лицами поздравляют меня (я только сейчас осознаю, что это был первый в жизни юбилей – 10 лет), усаживают за маленький столик с белоснежной скатертью и прямо со сковородки мне накладывается жареная картошка с яичницей и на отдельном блюдце – салат из одного помидора. Ничего подобного я не ел несколько месяцев. Мои прекрасные, дорогие мои люди, я помню Вас всегда.

Но этого мало, мне дарят замечательную книгу – подшивку журнала «Светлячок» за 1912 год. Меня поражает открытое упоминание на страницах журнала о Боге, Ангелах, Святых подвижниках. Более светлого дня рождения я не помню. В этот день не было войны.

Вскоре война поспешила о себе напомнить. Мы с бабушкой собирали полусгоревшие головешки дерева для нашей плиты, где-то в районе улицы Большой Морской. В развалинах копошились еще несколько человек. Увлеченные работой, мы не заметили, как вокруг нас образовалась толпа людей, которую подгоняли румынские солдаты с винтовками наперевес. Это была облава. Мы попали в гущу толпы и, увлекаемые ею, побросав дрова, двинулись в неизвестном направлении. Всех согнали во двор Покровского собора, который был окружен сохранившейся от бомбежек чугунной оградой. Несколько часов люди покорно и тихо просидели на камнях или прямо на голой земле в томительном ожидании и в неизвестности. Перед этим случаем до нас уже доходили слухи о том, что немцы устраивают облавы в основном на мужчин, молодых женщин и девушек. Девушек отправляют на работу в Германию, а некоторые баржи с мужчинами выводят в море и топят. Говорили, что видели труп матроса в тельняшке, со связанными колючей проволокой руками, которого прибило к берегу волной. Можно представить наш испуг и душевное состояние.

Румыны вяло охраняли основной вход во двор собора. На часах стоял один, остальные сидели или полулежали вокруг небольшого костерка. Винтовки стояли прислоненными к стене. Задняя часть двора была завалена грудами непроходимого битого камня разрушенных домов и заросла кустарником. Там часовых не было. Приближался вечер. Бабушка сказала: «Поди, незаметно в сторонку и пописай, а заодно посмотри, нет ли за собором прохода». Не торопясь, я начал потихоньку передвигаться, стараясь спиной ощущать, что меня якобы не видно, меня нет. Потом, через много лет, я прочел в воспоминаниях Вольфа

Мессинга нечто подобное, когда он хотел скрыться от билетного контролера. Вряд ли кто-нибудь из охраны обратил внимание на маленького худого мальчишку, который хочет стать невидимкой. Удалившись, как мне казалось, незамеченным на некоторое расстояние, я, действительно, нашел узкий проход в кустах и тропинку, ведущую вниз через развалины. Теперь предстояло самое трудное – сделать невидимой бабушку, так как она была значительно крупнее меня. Как мне было страшно, как я боялся окрика часового или выстрела. Бог был милостив к нам. Мы быстро исчезли за угловой стеной собора, потом внедрились в гущу кустов и затерялись среди развалин. Когда мы добрались домой, там уже беззвучно гудело высоковольтное нервное напряжение – нас не было почти целый день. Бабушка получила любовно «старую дуру» – дрова надо искать возле дома. Я – «не сметь … впредь никогда без ведома… и носа не высовывать!». Сияние подвига побега погасло. Как стало потом известно, всех собранных облавой людей отпустили к началу комендантского часа.

Несмотря на лишения и страх, жизнь требовала своё. Пример. У хорошего работящего мужчины Андрея бомбой разрушило до основания дом и убило жену. Он остался с двумя девочками. Достаток в его семье был удовлетворительный, ради дочек он подрабатывал шофером у немцев и шил матерчатые тапочки-ботинки и бурки (тряпичные сапоги) на подошве из автомобильных покрышек. Это была наша главная обувь в те времена. Но девочкам нужна была мать, а в доме хозяйка. Отыскалась молодая учительница, имевшая свой домик, но без средств к существованию. Вот их и сосватали. И закатили в нашем доме невиданную свадьбу. Нагнали самогона, друзья рыбаки поставили рыбу редких дорогих сортов и в большом количестве. Жених, кроме всех достоинств, был прекрасный баянист, а в нашем кодле многие любили и умели петь. «И эта свадьба, свадьба пела и плясала». Гудели трое суток. Никто из властителей не нарушил этого бурного веселея. И носа не сунули. Вспоминая теперь эту вакханалию, я думаю, что было это похоже на «Пир во время чумы». Пей, гуляй, однова живем! Все мы были поражены чувствами незащищенности, неопределенности и порой безнадежности, но уныния никто не проявлял.

В основной массе севастопольцев не ощущалось подобострастия перед немцами, наоборот, чувствовался не проявляемый патриотизм. Но были и такие жучки из породы «кому война, а кому мать родна» и еще худшие, которые помогали немцам и выслуживались. Такой вот субъект по просьбе знакомых из Симферополя остановился у нас на пару суток.

Шофёр дядя Ваня, работавший в каком-то немецком карательном учреждении. Разбитной ухарь-купец, он приехал на грузовике, нашей полуторке, загруженной продуктами, с целью выгодно продать их в городе. Вечером он широко угощал нас салом, медом, а отца склонил к выпивке. У него был целый ящик настоящей «Московской» водки. Утром отец с омерзением рассказывал маме, а я случайно услышал, что Ваня изрядно выпил и захмелел. Под крутым шафе он хвастливо рассказал, что продукты изъяты у людей, подвергшихся репрессиям, арестам и ликвидации. В чем он сам принимал активное участие. И самое страшное было в том, что он вывозил на своем грузовике людей и расстрельную команду полицаев за город, на расстрел. Когда ему предложили пострелять – он не отказался. Какая мразь!

Спиритизм. *"На основании всей совокупности узнанного и увиденного члены комиссии единогласно пришли к следующему заключению: спиритические явления происходят от бессознательных движений или от сознательного обмана, спиритическое учение есть суеверие». /Заключение специальной комиссии, возглавляемой Д.И.Менделеевым,1876 г./.*

Не знали об этом заключении обыватели оккупированного города. Не знали и все наши родственники. Но по городу поползли слухи, что то у неких N, то у NN, то ещё где-то по вечерам собираются группы людей и гадают, вернее, проводят спиритические сеансы и получают доподлинно верные известия и ответы на вопросы от вызванных душ умерших людей. И вот у маминой двоюродной сестры проводят спиритический сеанс. Мама отправилась туда из любопытства, а потом дома рассказывала о происходившем таинстве. Суть сеанса заключалась в том, что вокруг круглого стола (обязательно построенного без гвоздей) усаживалась вся компания. На столе большой круглый лист бумаги, на котором по окружности написаны все буквы алфавита и цифры до10. На эту бумагу кладется фарфоровое блюдце, на которое, едва касаясь, присутствующие накладывают персты. Ждут пока блюдце «нагреется» и начнет неопределённое движение. Тут-то и вызывается дух усопшего человека, часто почему-то вызывают дух Пушкина или Наполеона. Начинают взывать: «Дух такого-то скажи нам». Задается вопрос. Блюдце начинает движение к определенным буквам, из которых складываются слова. В описываемый вечер, конечно же, первым вопросом был вопрос, когда кончится война. Блюдце набрало слово «скоро». Затем последовало то, чем все были поражены, и по глупости своей уверовали в истинность происходившего. Ждали подругу Лёлю, шел уже комендантский час, а её все не было, посему

волновались. Вот и задали вопрос: «Лёля придет?». И блюдце ответило: «Она уже входит». И тут же в комнату вошла Лёля. Все обалдели. Далее блюдце ответило ещё на несколько вопросов, а потом начало нести чушь и в конце стало материться. На сём решили, что блюдце устало и отложили действо до следующего раза.

Так будем великодушны к этим людям, уставшим от войны, от постоянных страхов за себя и близких, от полуголодного существования, от утраты надежды на завтрашний день. Как при такой жизни не начать верить в приметы и чудеса? И хоть открыта церьков, но утрачена связь человека с Богом, да и неизвестно многим православным, что порицает церьков спиритизм и гадания.

21. Опять Подгорная

На протяжении своего пребывания в Севастополе немцы регулярно отправляли на работу в Германию молодых людей. В 1944 году участились облавы, преследовавшие те же цели. К весне 1944 стали вылавливать мужчин от 18 до 50 лет, способных воевать. Я видел, как немецкий унтер на пустыре возле ул. Спортивно, заставлял бегать и выполнять разные боевые приемы большую группу наших мужиков. Повесткой вызвали отца. Понимая, куда идёт дело, он пошел на крайность и решил прибегнуть к членовредительству. По роду работы ему часто приходилось заводить двигатель баркаса с помощью металлической ручки. Резонно считая, что мог бы повредить себе ладонь правой руки при этой работе, он втер себе под кожу стекловату, чтоб вызвать воспаление и не являться по повестке на сборы. Через трое суток развился страшный абсцесс правой ладони. Промучившись с приобретенной болячкой некоторое время без сна и покоя, отец решился искать врача, который помог бы без огласки. Через знакомых отыскалась врач-гинеколог, проживавшая на улице Частника. Доктор не практиковала, жила случайным заработком. Она осмотрела руку отца и категорично заявила, что нужно срочно спасать руку – вскрывать абсцесс. Достаньте водки и выпейте стакан перед операцией, так как обезболивать нечем. С собой захватите острую опасную бритву, которой бреетесь. Все было выполнено. Продезинфицировав руку остатками водки, смелая доктор широким разрезом через всю ладонь вскрыла абсцесс и наложила повязку. Велела явиться на перевязку на следующий день. Отец пришел домой и проспал сутки. Заживление пошло быстро. К этому времени немцев так придавили, что стало не до облав.

Теперь я понимаю, как рисковали все. Ведь членовредительство было бы доказать не трудно, доктор рисковала сокрытием, недоносительством и оказанием помощи, опасности соучастия подвергалась вся семья. Всем грозил расстрел. К сожалению, не знаю фамилии доктора, но помню ее в лицо, и что она через много лет за свой длительный труд была награждена орденом, а ее дочка поступила в мединститут, когда я его заканчивал.

Примерно к этому же времени относится событие, как мы с бабушкой прятали подпольщицу, члена подпольной организации Ревякина, нашу дальнюю родственницу Евдокию Весикирскую. Дуся Весикирская работала в управлении Севастопольского торга, каким-то значительным руководителем. Как член Партии ВКП (б)

была оставлена на подпольную работу в городе. Подробностями о ее подпольной работе я не располагаю.

Правда, в Областном музее Крыма, в Симферополе в 1955 году видел на стенде её большую фотографию с описанием участия в подпольном движении. Упоминалось, что она награждена медалью «Партизан ВОВ».

Ночью Евдокия вызвала через соседей бабушку и попросила: «Маня, кругом облавы, меня ищут немцы, спрячь меня где-нибудь». Бабушка, никому ничего не говоря, позвала на улицу своего «отважного» внука и попросила помочь поднять чугунный круг над водомерной ямой. В эту яму мы спустили тетю Дусю и закрыли крышкой. Пару ночей мы приносили ей воду, еду, свечку. На третий день под прикрытием сильного артобстрела Евдокия Весикирская ушла в ночь, в неведомом направлении.

Она осталась жива. После войны опять работала в торге. В те времена не принято было благодарить за помощь. Потом быстро все забылось. А ведь могли бы наградить, хотя бы бабушкуку.

На фронтах под Севастополем опять наступило затишье. Боясь, что облавы опять возобновятся, отец и сосед вырыли в огороде возле дома яму-укрытие. А чтобы ничего не было видно сверху, на доски насыпали землю с навозом и разбили грядку с редиской. Пару раз, когда доходили слухи об облавах, они прятались в эту яму, а мама и жена соседа равняли граблями землю, создавая видимость культивируемого участка. Однако длительное пребывание в яме не совмещалось с жизнью, не хватало воздуха. Поэтому отец, как он сам потом не раз рассказывал, принял гениальное решение. Нужно ночью перебраться в наш разрушенный дом и подвал на улице Подгорной, в запретную зону, и там замереть, затихнуть, не подавать никаких признаков жизни. Отсидеться до прихода наших. В запретной зоне немцы искать людей не будут. Облавы, тем более, не будут проводиться.

Так и было сделано. Мы вернулись в родной подвал. Дом был так разрушен, что жить в нем не было возможности, да и опасно, так как в любой момент могли обвалиться крыша или стены. Несколько дней мы не высовывались из подвала. Потом, немного осмелев, стали потихоньку готовить еду на оставшейся в целости плите, правда, выбирали время, когда начинался артобстрел или бомбежка. Каким-то образом о нашем местопребывании стали узнавать родственники, и постепенно все «кодло сползлось к нам» (это слова отца). О какой конспирации теперь можно было говорить? Папа безнадежно махнул рукой, дескать, что будет, то будет. На наше счастье немецкий гарнизон был к этому времени полностью деморализован. Они валили скопом и в розницу в

неведомый город Камышовая, бросая по дороге автомобили и мотоциклы. Некоторые машины тут же сжигались.

Я периодически появлялся на улице Спортивной, где мы жили раньше, и видел, как внизу по Херсонскому шоссе вершился великий немецкий драп. Запомнилась картинка: немец на мотоцикле съехал на обочину шоссе, облил машину бензином и поджег, а сам пошел дальше пешком.

Бросали не только технику, но и лошадей. Я был свидетель дела печального, но в нашем положении необходимого. Недалеко в балке мой дядька Шура Ольхин заметил одинокого молодого лошака. Посовещавшись, отец и дядька решили лошадь пригнать во двор дома и забить. К этому времени у нас не было никакой еды. Выход в море на баркасе был запрещен, рыбацкая артель распалась. Баркас отец подтопил в заветном месте, чтобы не увели.

Стараясь быть не замеченными, дело ведь рискованное, наши мужчины загнали лошадь в сарай. Теперь необходимо было, на всякий случай, заглушить смертный вопль коня. Для этого меня заставили вертеть ручку довольно большой крупорушки, издававшей ужасный грохот. Строго приказали не оборачиваться, чтобы я не видел убийства. Справились быстро и без шума. Коня обездвижили ударом молота в лоб, а потом дядя Шура, имевший опыт забоя свиней, одним ударом немецкого штыка прямо в сердце прикончил животное. Мясо разделили только между своими – боялись предательства.

В последние дни перед освобождением Севастополя запылал многоэтажный дом Аненко (так его называли в народе по имени инженера, построившего этот дом). В сохранившихся от бомбежек нижних этажах и в подвале располагались склады немецкого обмундирования и продовольствия. Горит дом. Вокруг города и над ним страшные бои. Каждый человечек в мгновении от гибели. Но наши люди, как муравьи, растаскивают мешки и ящики. Охраны здания нет. Часть немцев воюет на передовой, часть драпает в неведомый город Камышовая. Мужики-инвалиды, бабы, подростки тянут все, порой не зная, что же внутри добротно сколоченных ящиков, в запаянных металлических коробках.

Скорей, скорей! Пока все не сгорело. Скорей! Чтобы успеть вернуться и ухватить ну хоть что-нибудь ещё. Мои бабушки Маня и Фрося приносят мешки с макаронами и горохом. Мешки из синтетической белой ткани, грубого плетения, с наштампованными немецкими буквами и неизменным орлом со свастикой. Ни мама, ни папа в этом разгуле не принимают участия. Приходит подвыпивший дядя Шура, в руках у него большая металлическая коробка со спиртным напитком. По

дороге к нам он не выдерживает и безобразно вскрывает этот ящик. Орудие для вскрытия, немецкий кортик небывалой красоты, который он выхватил из огня. Перед этим он приносит к себе домой мешки со свитерами для немецких офицеров. Свитера эти из первоклассной шерсти, темно-синие, со стоячим круглым воротом-резинкой. Потом он их выгодно продавал, но и щедро раздаривал. В таком свитере я пощеголял многие годы, на зависть сверстникам. Дядя Шура рассказывал, как какой-то мужчина, вероятно пьяный, наклонился над огромной бочкой с патокой или повидлом (продукта оставалось немного на самом дне), стараясь дотянуться и зачерпнуть рукой плотной вязкой жижи, он свалился внутрь сосуда. Обратной дороги ему не было. Ноги по щиколотку в повидле, стены бочки скользкие и выше головы. Мужик орет о помощи, но вокруг веселая кутерьма грабежа – не до него. Наконец, кто-то приходит на помощь. Внутрь бочки летят мешки с мукой и вермишелью. Очень сладкий человек выбирается на свободу. Интерес к нему быстро иссякает, и он растворяется в дыму пожара, как в дымке истории.

Вечером 8 мая до нас дошел слух, что видели в городе группу наших разведчиков, которые сказали, что завтра наши войдут в Севастополь. Радостный рассказчик удивленно добавлял, что в группе разведчиков была женщина.

Этим же вечером я по нужде выполз из наших развалин в соседние. Там, в глубокой выемке, подобной нашему подвалу, сидели два молодых парня в гражданской одежде. Перед ними на камне стояли открытая консервная банка и бутылка водки. Встреча была неожиданна для обеих сторон. Мы не обмолвились ни словом. Не шелохнувшись, острым взглядом неизвестные наблюдали мое поспешное исчезновение. Явно они от кого-то скрывались. Наверняка, они знали о близком присутствии людей и не тронули меня. Я тут же рассказал о встрече отцу. Ни слова не говоря, он пробрался к этим людям и, как потом рассказал, попросил их уйти, ссылаясь на то, что здесь скрывается семья и их присутствие для нас опасно. Незнакомцы, действительно, вскоре исчезли. После них остались лежать на земле два новеньких автомата ППШ. Мое желание ими завладеть пресек отец. Он отнес их подальше и сбросил в старый сухой колодец.

22. Наши пришли

Ночь с 8-го на 9-е мая 1944 года напоминала ночь перед входом немцев в город в июне 42-го. И бомбежка, и минометно-артиллерийский обстрел были так же интенсивны и длились почти до рассвета. Потом наступила полная тишина. Как только канонада закончилась, отец отправился в Артиллерийскую бухту навстречу переправлявшимся с Северной стороны войскам. По дороге его остановила передовая группа солдат во главе с армейским капитаном. Задание у группы было прочесать определенные подозрительные участки развалин как раз в нашем районе. Капитан осведомился, знает ли отец Севастополь и может ли проводить группу в указанные места. Он дал отцу гранату и сказал, что если отец подведет и они наткнутся на засаду, то застрелит его на месте. К восходу солнца группа обшарила весь район, и солдаты расположились на привал на перекрестке ул. Подгорной и Греческой. Капитана отец пригласил к нам «домой». Маме где-то удалось раздобыть маленькую водки и десяток яиц. Гостю был устроен роскошный завтрак. Такого мне не доводилось видеть многие месяцы. Капитан в вылинявшей до бела гимнастерке, с колодкой орденов на груди был белобрыс и сероглаз. Вел он себя развязно, как хозяин, не чувствовалось и тени сомнения в том, что именно так должны его потчевать. Для него мы были люди второго сорта, раз были под немцем. Появился мой малолетний брат Виктор, рожденный в августе 1942 года, вскоре после прихода немцев. У брата были льняные кудрявые волосы и голубые глаза. С нехорошей усмешкой капитан, указывая на брата, сказал: «От немца?». Полное несовпадение временных сроков его не «колыхало». Неужели хотел обидеть? Все присутствующие промолчали. Мне было обидно и обидно еще долгие годы, потому что чувство нашей вины за то, что мы были в оккупации, культивировалось еще несколько лет. Это чувствовалось в школе, у отца на работе и в быту. В 1947 году школьное комсомольское собрание приняло меня в ряды ВЛКСМ, а в горкоме комсомола сероглазый белобрысый член бюро в патриотическом запале заявил: «Как мы можем принять его в комсомол, ведь он был в оккупации? Может быть, его отец служил в полиции?». Оставалось сказать, что я воевал на стороне немцев. В комсомол меня приняли после вмешательства секретаря парторганизации школы. Родной брат отца Владимир Михайлович, директор завода пограничных катеров, в Питере, прежде чем посетит нас, по каналам НКВД наводил соответствующие справки. Абсурд! Мы были виноваты в

ошибках и просчетах вождей и военоначальников. Неужели же ещё в том, что выжили?

Я думаю о моем дорогом отце Константине Михайловиче Задорожникове, 1906 года рождения, белобилетнике, не годном к военной службе по состоянию здоровья. Каково ему было в жизни? Несмотря ни на что, он оставался патриотом своей Родины, и я видел подтверждение этому не раз. Он ненавидел немцев. Несмотря на приказ «снимать головной убор перед немецкими офицерами», никогда этого не делал. Однажды мы шли с ним по узкому тротуару, нам навстречу двигалась довольно плотная группа немецких солдат. Отец взял меня за запястье крепко, не как обычно, и сказал сквозь зубы: «Идем прямо, не сворачиваем». Продолжая свои громкие разговоры и гогот, солдаты прошли мимо.

В соседней половине дома, в который мы вынуждены были перебраться из запретной зоны, поселился немецкий офицер. Хозяев, старика и старуху Потемкиных сместили на кухню. Оказалось, что офицер – русский, и как сам о себе заявил, потомственный князь (я забыл фамилию). Одет он был в немецкую полевую форму, выглядел подчеркнуто элегантно и подтянуто. На его фуражке обратили на себя мое внимание череп и две кости в овале.

У него были красивые холеные белые руки с маникюром (так сказала мама). При знакомстве с отцом он представился и протянул руку для пожатия. Отец рубил в это время дрова. Он сказал: «Грязные руки». Потом дал для пожатия своё запястье, кисть при этом была сжата в кулак.

Я думаю, его заставили рано утром 9 мая идти навстречу наступавшим войскам и чувство долга, и возможность, пусть на всякий случай, реабилитировать себя и защитить семью от несправедливых подозрений. Помню, как усталый, но счастливый он возвращался домой во второй половине дня 9-го. Я увидел его в перспективе, в начале улицы, и побежал к нему. Он подхватил меня под мышки, поднял высоко над своей головой к небу, потряс и воскликнул: «Ну, Жорка, теперь все будет хорошо! Теперь некого бояться! Будешь жить!».

Отец рассказывал, что солдаты переправлялись с Северной стороны на подручных средствах: плотах, бочках, надутых автомобильных камерах. По личной инициативе он поднял из затопления свой баркас и несколько суток подряд практически без сна перевозил военных с Северной стороны к Графской пристани. Несколько раз мы с мамой приносили ему еду. Не прекращая работы, он на ходу быстро все поедал, а для возвращения посуды и кастрюль брал меня с собой в очередную

ходку. На обратном пути мне разрешалось некоторое время вести баркас. Вскоре отца вызвали в Особый отдел, где документированные сведения об его пребывании в оккупированном городе уже имелись. Следователь кратко допросил его. Потом отец описывал такой эпизод. На столе следователя лежал пистолет ТТ. Задав очередной вопрос, следователь поднялся и отошел к окну покурить, повернувшись к отцу спиной. Зачем? Испытание реакции допрашиваемого или обыденный, ничего не значащий и не преднамеренный поступок? Так или иначе, отца отпустили. Ему было предписано принять участие в восстановление автобазы ЧФ, где он работал до войны. Там он и проработал до пенсии в качестве начальника авторемонтных мастерских. Мастерские были его детищем. Здесь в полную меру выразились его организаторские способности и талант изобретателя и рационализатора. Дисциплина в коллективе была железной. Почтительно сотрудники называли его «Хозяин».

Я немного отошел от основной темы рассказа о первом дне в освобожденном городе. Продолжаю. Было, наверное, около 8 часов утра, когда я вышел из подвала на улицу Подгорную. Синее небо слилось с кромкой синего моря так, что казалось, Константиновский равелин повис в однородной голубизне пространства. Тишина. Над сгоревшим куполом здания Панорамы – красный флаг.

Группа солдат на привале в конце улицы, на ступеньках лестницы, ведущей в Карантин. Впервые слышу, как они между собой называют друг друга – «славяне».

Командир строит группу в две шеренги. Перекличка, и солдаты уходят в глубину городских развалин.

Возвращаюсь к своему наблюдательному пункту у разрушенной стены, откуда виден весь город и бухта. Вдруг мое внимание привлекает буксир, идущий посередине бухты на полной скорости, как бы удирая, как бы спасаясь, во всяком случае, во мне возникает это мимолетное ощущение и еще предчувствие, что сейчас что-то произойдет. Через несколько секунд следует глухой толчок взрыва, возникает столб воды, и когда он опускается, то буксира уже нет. Уверен, что я был единственным зрителем. На протяжении всей жизни я иногда возвращался к этому эпизоду, по-моему, это были немцы, пытавшиеся вырваться из города. Тому же, как я мог за секунду предчувствовать взрыв, объяснения не нахожу.

Спустя несколько дней после освобождения города состоялся митинг, посвященный этому событию. На площади Ленина (ранее площадь Третьего интернационала) собрались уцелевшие

севастопольцы. На мой взгляд, нас оказалось около пятисот человек. И как удивительно мне теперь, спустя 65 лет, было видеть заполненный до отказа зал бывшего дома политпросвета. Многим собравшимся не хватило кресел, и они стояли в проходах и снаружи, очень многие уходили. Где вы были, ребята, в 1944 году?

В день митинга памятник Ленину отсутствовал. Взрывной волной фигуру вождя с вытянутой рукой и пальцем, указывающим на Запад, снесло с пьедестала. Это случилось еще в осаду. Он упал, пробив пальцем корку асфальта, теперь рука указывала нам направление к центру планеты. Мой двоюродный дядя Александр Ольхин по кличке Бемс, хороший парень, но слегка дементный, цинично шутил о том, что раньше вождь нам указывал дорогу к светлому будущему, а теперь – «всем лечь в землю».

Фигуры Ленина и окружавших его солдата, матроса, рабочего, крестьянина убрали. Остался голый мраморный пьедестал, вокруг которого и теснились мы, уцелевшие. Митинг долго не начинали. На жарком солнце мы прождали около двух часов. Наконец, появились группа офицеров и взвод солдат. Первым выступал полный, невысокий полковник, говорил долго. Дальнейшее стерлось из памяти. Кажется, в начале и в конце духовой оркестр играл новый Гимн Советского Союза. Мы слышали гимн впервые, он вошел в жизнь, пока мы были в оккупации. Прежним гимном, который мы знали, был «Интернационал».

На пустующий пьедестал со временем вернулся памятник Павлу Степановичу Нахимову, а памятник Владимиру Ленину установили высоко на центральном холме города, не далеко от Владимирского собора. Удивительные совпадения, удивительные вольности позволяла себе советская власть. Символично выглядит: Христос и Антихрист рядом.

Очень скоро возобновились занятия в школе. Для школы было взято то же здание в конце Пироговки, что и при немцах. Мне шел одиннадцатый год, и для второго класса я был переросток. Кроме того, если я начну заниматься со второго класса, то мне светило загудеть в армию, не закончив школы. Поэтому моя мама и жившая по соседству учительница Нина Владимировна, решили, что я должен за май-июнь закончить третий класс и поступить в четвертый. Она занималась со мной в течение предыдущего года дома. Посему считала, что я вполне готов и достоин проскользнуть через все испытания и чудесным образом очутиться в четвертом классе. Так и случилось, однако, не без давления моей дорогой учительницы на педсовет. Ибо

итоговый диктант за третий класс, который Нина Владимировна принесла показать маме, содержал потрясающе небывалое количество всех видов ошибок. А понятия из арифметики наибольшего общего кратного для меня осталось навсегда угрожающим сочетанием непонятных слов. Пробел в знаниях программы второго и третьего классов погубил меня. Обдумывая теперь свои трудности в дальнейшей учебе, я склоняюсь к тому, что не только отсутствие базовых знаний за второй и третий классы послужили тому причиной. Немаловажным было отсутствие коллективного процесса познания и той благодатной среды сверстников, в которой незримо, но постоянно происходит энергоинформационный обмен и закрепление знаний даже у самого нерадивого ученика.

До окончания школы я шел в троечниках по русскому языку. Прекрасно, что в старших классах исчезла арифметика. В математике мне удалось разобраться, по остальным предметам были нестойкие, из-за лени, но приближающиеся к отличным, успехи.

Итак, закончен третий класс. Я буду учиться в четвертом классе школы № 19. Но перед этим состоится местный праздник в старой школе. Будут «представители» и, самое главное – киносъемка. Об этом за сутки заявила мне и маме учительница Нина Владимировна. А посему я должен прочесть перед всеми праздничное злободневное стихотворение, которое безжалостной рукой мне вручила радостная учиха. Стихотворение большое и трудное я должен выучить за один день. Раз будет киносъемка, то меня снимут, а потом журнал покажут в Ленинграде, и вся тамошняя немалая родня узнает, что мы живы. Так рассуждала мама, определяя своего сына на позор.

Длинный, жаркий летний день, мне бы на море с пацанами, а я должен зубрить ненавистные стихи: «Севастополь, ты гордость наша! Вновь над тобой засиял рассвет, и отступили страха потёмки». Барабанная дробь и трудновыговариваемое сочетания «страха потёмки» ужасает и поныне. Вечерняя проверка показала, что я отупел и поглупел. Стихотворение было воспроизведено с трудом, коряво. Срочно требовался логопед, но о таких тогда не знали. Взрослым отступать было нельзя. Утром на свежую голову (нужна ли была свежая голова стрельцу «В утро стрелецкой казни») мне надлежит все повторить, и все закрепится.

Меня ведут на школьный двор. Надевают красный галстук, хотя при немцах вступить в пионеры я никак не мог. Стоят осветители и шаткая деревянная вышка оператора. Однако «кина не будет», киношники не приехали. Спасибо им! Стоит неровный строй школьников. Перед ними выступают «представители».

Конец. Сейчас всех отпустят. Но моя учительница громко и по-прежнему безжалостно сообщает, что сейчас ученик, имя рек, прочтет стихотворение. Ужас! Она подталкивает меня к деревянной вышке оператора. Я лезу по скрипучим ступеням, растерянный, злой, трусливый. Король Карл, Мария Стюарт, каково вам было восходить на эшафот? Вот и лобное место, то есть деревянный квадратик метр на метр. Палач запаздывает. Чтобы публика не скучала, я начинаю читать стихи. Конечно же, я сбиваюсь, забываю текст. Внизу учительница с листком пытается суфлировать, но я ничего не слышу. В толпе царит неприличное случаю веселье. Я не закончив чтение, отменяю казнь взмахом руки и схожу с эшафота. Горят уши, но главное – невидимые миру злые слезы. Больше я никогда не декламирую стихов.

Здравствуй девятнадцатая школа – школа бандитов, джентльменов удачи и пай-мальчиков, где не читают стихов!

23. Как я Гитлера видел (шутка).

Было часов 9 утра 9-го мая 1944 года. В город входили Наши. Я вылез из подвала, где вся семья провела ночь, наполненную взрывами бомб и снарядов. Был я, как бы это сказать, не в себе, лёгкий и прозрачный как это утро, ошарашенный небывалой громкой тишиной, не сбросивший остатки тревожного сна и немного голодный. Вот в таком пограничном состоянии, равный самому себе, побрёл я навстречу поднимающемуся солнцу, вдоль совершенно безлюдной улице Подгорной. Справ от меня лежали сплошные руины домов, слева, за невысокой стенкой, разрушенный город. Абсурд. Не реальность апокалипсиса.

На небольшой брусчатой площадке в конце улицы, сразу за домом Дико, куда угодила первая бомба (корабельная мина), на противоположной стороне, на ступенях бывшего парадного входа, на трапе в Карантин и просто на мостовой, присели передохнуть солдаты. Кто ел, кто переобувался, кто курил. Командир, в чине капитана, что-то рассматривал в развёрнутом планшете. На неслышное появление маленького отрока никто и ни как не отреагировал. Может быть, и скорее всего, они меня не видели. Мальчик-невидимка. Одежда, лишенная окраски, сливалась с такими же лишенными смысла нагромождениями камней и земли, ну а телесная составляющая за три года жизни фактически во втором эшелоне линии обороны, могла действительно изрядно истончиться. «А был ли мальчик?».

Вдруг, со стороны развалин верхней Подгорной, словно ниоткуда, появился человек в серой толстовке. Спокойно и безбоязненно он передвигался в некотором отдалении от солдатского привала, вдоль стены ограждения, к лестнице, ведущей в гору, в карантинную бухту. Темные волосы, характерная косая чёлка, падающая на лоб, острый длинный нос и квадрат фельдфебельских усиков под ним. «Да это же Гитлер!» – стукнуло в голову. Фотооблик фюрера мне был знаком. Его фотография была, в выданном мне букваре, для первого класса. Надпись под портретом гласила: А.Гитлер – освободитель». Ещё, большой цветной портрет был выставлен, в чудом уцелевшей витрине магазинчика, рядом со стеной, на которой сохранилась памятная доска, сообщающая, что выше находился дом писателя К.Станюковича.

«Да, это же Гитлер! Почему же все так безразличны и спокойны? Он же сейчас уйдет!» – продолжало крутиться в голове. Отчего бы Гитлеру оказаться, сейчас в Севастополе, одному без охраны, брошенному всеми его солдатами и

генералами? Дичайшие мысли. Только слабый не зрелый умик мальчика-невидимки мог породить такое.

Видение растворилось и сразу за этим, как продолжение сценария, командир выхватил пистолет и выстрелил вверх. Резкий звук пистолета заставил меня инстинктивно пригнуться и присесть. Тут же наваждение вылетело из головы, но не совсем. Яростный крик командира: «Ушел! Ушел!», – свидетельствовал, что я был прав: «Ага, прошляпили, упустили». Но тут же, из гневного мата командира, обращенного к помощнику, стало понятно, что ушел провинившийся солдат. Как это случилось, что никто не видел? Ещё один феномен невидимки!

К слову, и позже, когда я стал большим, бывали случаи как бы моего исчезновения из материального мира, во всяком случае, по отсутствующему не видящему взгляду некоторых людей особого сорта, особенно начальников… Как это объяснить? Личными способностями к метаморфозам, или особенностями зрения смотрящих, но не видящих. Чем выше на социальной лестнице пребывал смотрящий, тем менее видимым становилась моя материальная суть. Да, ещё собаки, их раздражала и пугала движущаяся пустота. Не было ни одной собаки, приближаясь, к которой с мыслью: «Сейчас залает», я не был бы свирепо облаян. Они ли чувствовали плохого человека или я транслировал им, «Ну-ка, полайте на меня. Я боюсь».

Глава IV
Последний год войны

И новый Рубо Панораму начнёт
Он наши дела не забудет
Высокое солнце над Крымом взойдет
И больше заката не будет.

Песня войны. Автор не известен.

1. Без крова

Оставался ещё год войны. Но постепенно начали возвращаться эвакуированные жители города. Селились в полуразрушенных домах, в подвалах под развалинами, снимали комнаты в частном секторе на окраинах, наскоро лепили лачуги из камня, глины и остатков железной кровли. Некоторым семьям пришлось надолго оставаться жить на десантных баржах «Болиндерах», на которых они приплыли в город.

Удивительный пример. Напротив дома на улице Подгорной, в который попала первая бомба (мина), через дорогу стоял угловой трехэтажный дом, увенчанный небольшой застекленной башенкой, вернее сказать, фонарем. От первого взрыва 22 июня он незначительно пострадал. Зато дальнейшие бомбежки «обтесали» его так, что осталась парадное со ступеньками, винтовая лестница, остатки кровли над ней и по бокам – остатки двух стен, образующих угол. Башенка венчала этот остов дома. Так вот, лестничные площадки оказались изолированными от внешнего мира, и в этом замкнутом пространстве можно было укрыться от непогоды и постороннего взгляда. Там, как в гнезде, жили самостоятельной взрослой жизнью две девочки (взрослых не видел). Девочек звали Оля и Лёля, соответственно, около 10 и 14 лет. Младшая, миловидная чернявая, с круглым лицом и цыганскими глазами, старшая – худая и длинная, с узким строгим аскетичным лицом, как монахиня.

Мне доводилось довольно часто проходить мимо этого места. Я слышал их разговоры, из которых узнал их имена. Мне шел тринадцатый год, и был я единственный мальчик, периодически попадавший в их поле зрение и им на язык. При моем появлении они обозначались в окне или на балкончике и до меня долетало: «Смотри, твой принц идет!» Я краснел и старался пройти мимо как можно быстрей. Опыта общения с принцессами у принца не было. Война!

Неожиданно в полночный час появилась мамина родная сестра Татьяна с мужем Василием. Они приплыли на самоходной десантной барже из Поти одними из первых возвращенцев, так как дядя Василий был нужен для срочных восстановительных работ в порту. Готовились к возвращению эскадры.

Мы уже знали, что эта часть нашей семьи жива, но так рано их не ждали. Накануне маме приснился вещий сон, ставший часто вспоминаемой легендой клана. Ей приснилось, что в беседе с кем-то о сестре она говорила, что скорой встречи не ждет, но четкий голос этого некто произнес: «Она с мужем будет сегодня

вечером». Так и произошло.

Нас стало много, а жили пока ещё в чужой квартире. А вот и хозяева появились. Пересчитали чашки-ложки, установили степень изношенности мебели, стен, замков и крючков. Выразили крайнюю степень недовольства всем и так, вообще. Причем в унизительной форме, дескать, вы тут при немцах..! Неведомо им было, что ли? Если бы мы не жили в этой хате, то все растянули бы и изгадили другие добрые люди. Попытки разорения квартиры были в тот период, когда мы прятались от облав в запретной зоне, на Подгорной. Побудь мы в отсутствии большее время, урон нанесенный жилищу был бы сокрушительный, и уж тогда нам, возможно, был бы предъявлен судебный иск. Такие уж это были люди. Живут же зануды на свете, не правда ли? Спустя десятилетия, кажется, третьеколенный отпрыск этой популяции госпитализировал свое чадо в отделение детского комплекса, где я работал заведующим. Ну, вампирюга! Ну и попил он из меня кровушки. Не будучи медиком, а образованцем и начинающим компетентным дилетантом, он держал под контролем процесс лечения, задавал вопросы, заведомо рассчитанные на создание конфликта. «Пепел Клааса стучит в моем (его) сердце!». Зов рода шел за ним, как футболист-чистильщик. Что не успели, и не удалось предкам, надлежало свершить ему, борцу за правду, терминатору и маргиналу. Но не удалось ему сокрушить мою защиту из трех пальцев в кармане. Представляю, как тускло и обыденно потекли дни его дальнейшей жизни. Слава советским докторам, боявшимся, как огня, жалоб больных и разборок этих жалоб на высоких административных уровнях!

Какие прекрасные вопросы, нравоучения и советы звучали в таких собраниях. «Вам что, надоело работать?» – как бы сочувственно. «А какая у вас категория?» – с подтекстом. «А клятва Гиппократа?» – это как бы всем понятно. Но выпуск 1957 года к клятве не приводился, не те были времена. От ответа на такой вопрос приходилось тупо молчать, как бы сознавая неполноценность своего статуса. Вероятно, как клятвонедостаточных нас выпустили в звании младших лейтенантов запаса. К сведению: дальнейшие выпуски шли лейтенантами и старшими лейтенантами.

Итак, хозяева, которым было где приклонить голову и даже не без комфорта, назначали суровый срок нашего выселения и включили счетчик. Что делать? Дом предков на Подгорной представлял собой кучку камней и расползшейся от дождей глины. В подвале на 6 кв. метров пятеро взрослых и двое детей не помещались. Домов в продаже не было, квартир не существовало. За двухэтажную деревянную развалюху здесь же на Подгорной

безумная старуха-хозяйка заламывала недоступную для нас цену.

А за тыльной стороной забора дома, в котором мы находились, стоял, пригорюнясь и как бы ожидая нас, пустырь, поросший лебедой и колючкой, и с недостроем из инкерманского камня с единственным пустым окном на улицу 6-ую Бастионную. Хозяйка жила через улицу напротив. Торг состоялся, быстрый и согласный. Отсюда «… начало быть, что начало быть».

За три месяца были воздвигнуты стены для четырех комнат и железная кровля. Две комнаты были готовы принять жильцов. Право первенства на заселение выпало семье с детьми, то есть моим родителям и нам с братом. В другую часть дома без полов и потолков, с заколоченными рамами окон вселились дядя Василий, его жена Татьяна и бабушка. Дальнейшее строительство продолжалось перманентно лет двадцать. И отец, и дядька Вася (чуть не забыл – он же был моим крёстным отцом – в православном смысле), сколько стоял этот прекрасный ухоженный домик, окруженный палаточным виноградом, столько они что-то достраивали и пристраивали. При доме были ванна, душ, ватерклозет, зимняя и летняя кухни, паровое отопление, первая космическая антенна. А какое вино делал отец из собственного винограда, а самогон, который лучше чем чача и коньяк. А какая рыба горячего копчения, сделанная в собственной коптильне, подавалась к столу, а свежий редис, а зелень! К нам валили гости из разных отдаленных уголков страны, даже те, кто были знакомыми знакомых. Бедные наши женщины, бедная мама. Всё лето у плиты. Законы гостеприимства, пусть себе в ущерб, но соблюдались неукоснительно.

Разморенные пляжными удовольствиями гости и родные и те, которые хуже татарина, вламывались во двор усадьбы под сень виноградной лозы. Они орали: «Да у вас здесь сущий рай!» и забивали душевые и ванные. А потом все к столу с пусть старенькой, но белоснежной, накрахмаленной скатертью, уставленному разномастной посудой и чем Бог послал. Восторги истинные. И уж, конечно же, в угоду хозяевам: «Ну, теперь мы только к вам! В следующий раз, на все лето!» Осенью мама говорила: «Господи, как я устала. Следующей весной ворота на засов, и гори всё, синим пламенем!». Но наступало лето, и все повторялось. Даже я, дорогой сыночек и самый дорогой гость, бездумно и беспощадно наезжал домой проводить отпуск, а иногда ещё и сотоварищи. Бедная дорогая моя мамочка, слишком поздно пришли ко мне понимание и раскаяние. Прости меня!

А потом, согласно генплану строительства города, наш дом снесли. Родителям дали квартиру в районе Омеги. На месте нашего дома вырос гигантский столб гостиницы «Крым». Торчит –

не Богу свечка, ни черту кочерга!

2. Как строили дом

Не помню значительных строительных работ в 1944–1945 гг. Шла война. Государству было не до этого. Кое-где были поставлены бараки. В разных частях города, в основном на пустырях, пленные немцы и румыны устанавливали сборные финские домики. Предназначались они для высших офицеров флота, крупных партийных руководителей города и хозяйственников. Остались обгорелые остовы стен многоэтажных домов, скопления которых в народе называли комбинатами. Такие группы домов были на Пироговке, Большой Морской. Их восстановление началось прежде всего. Работы по их восстановлению сокращались за счет того, что каркас из массивных стен был практически цел. Необходимы были отделочные работы, полы, крыша.

Дом, который построила моя семья, был одним из первых частных строений в городе. Каким непомерным трудом достался он нам всем. У отца с матерью денег не было ни копейки. Небольшую сумму привезли с Кавказа Василий и Татьяна. А время было тяжелое: карточная система распределения скудных пайков, на рынке все втридорога, магазинов свободной торговли не существовало.

Отец работал старшим мастером авторемонтных мастерских. По окончании ремонта очередного «Студебеккера» или нашей трехтонки на нём лежала ответственная и порой небезопасная работа по ходовым испытаниям автомобиля. Множество шоферов считали себя должниками отца за своевременный и качественный ремонт автомобиля-кормильца. Возможности для использования ситуации в своих целях были неограниченными, но отец считал их неправомерными. Ушлая шоферня работала налево без зазрения совести. Грузовик считался, прежде всего, орудием для получения личного дохода, а уж потом для выполнения производственных заданий. Да, это были времена, когда шоферская каста благоденствовала. Так вот эти ребятки уважали отца безмерно и частенько поджидали его по окончании работ у ворот автобазы, чтобы применить высшую меру благодарности – угостить большим количеством водки, часто без закуски. Мой папа, классический семьянин, и выпивать на стороне не было в его правилах. Вот в подобных ситуациях он, пересиливая себя, шел на компромисс с совестью и поднаряжал водителей подбросить то досок, то строительного камня или бетона.

Вечером, после тяжкого труда на основной работе, наскоро пообедав, отец и Василий вкалывали на своей стройке до поздней

ночи. Оба они были мастера на все руки, а что не умели, постигали в процессе работы. Дяде Васе как орденоносцу было выдано разрешение съездить в запретную зону в район «Маяка» и под надзором тамошнего специального человека выбрать немецкий мотоцикл с коляской. Василий просит моего отца как специалиста поехать с ним в качестве консультанта. Я прошу их обоих взять меня с собой. Меня берут. Едем в кузове попутной трехтонки. Я впервые в жизни в этих краях родной земли. По дороге я впервые увидел совершенно пустынные берега бухт Омеги, Камышовой, Казачьей, окруженных лысыми низкими курганами, без единого деревца, остовы затопленных кораблей. Степь усеяна воронками от взрывов и остатками сгоревшей техники. В специальном загоне – скопление разнообразных средств передвижения, частично поврежденных и совершенно целых. Мы выбираем мотоцикл с коляской, фирмы «Цундап». Мощный и безотказный в эксплуатации, он прослужил нам долгие годы. Своим ходом на мотоцикле возвращаемся домой. По дороге прихватываем безнадзорный медный бак литров на 50, заполненный немецкими штыками, в ножнах и на ремнях. Какая-то часть штыков применялась нами в хозяйстве, например, для забоя свиней. Что-то из арсенала я втихую раздавал дружкам. Учился метать их в соседский забор. Потом, когда пришли более упорядоченные времена, хранение холодного оружие грозило наказанием, все штыки были закопаны навсегда в глубокую яму посреди усадьбы. Сверху лёг толстый слой бетона.

В мои обязанности входило: привоз нескольких бочек воды, ежедневный полив огорода, тупое и нудное занятие выравнивания гнутых старых гвоздей (стройка пожирала их килограммами) и самое тяжелое – сеять песок, землю, глину. Для просеивания применялась большая крупнопетлистая железная сетка на деревянной раме высотой до 2-х метров, устанавливаемая вертикально, под углом в 60 градусов. Это называлось – «грохот». Нужно было совковой лопатой бросать песок в верхнюю часть сетки для того, чтобы по наклонной он скатывался с грохотом и просеивался, образуя медленно растущую кучку с противоположной стороны. Доброе палящее солнце моего отрочества безжалостно помогало мне надолго возненавидеть физический труд. Правда, к любому физическому напряжению в спорте я был всегда радостно готов. «Гонять мяч целый день ты не устаешь» – говорили дома.

Деньги! Строительство постоянно требовало всё новых и новых затрат. К чему только не прибегали мои дорогие родственники, чтобы заработать кое-какую копейку. Ведь частное предпринимательство во всех видах жесточайше преследовалось.

Мама шила. С годами её мастерство становилось совершеннее. Добротность и тщательность исполнения заказов снискали ей определенную известность и постоянную клиентуру. Правда, работала она с оглядкой, конспиративно. Я помню её долгие годы склоненной и днем, и глубокой ночью над швейной машинкой. На её игле держалось материальное благополучие семьи. Несмотря на достоинства социалистического строя, фактически получить высшее образование мне помог мамин каторжный труд.

А ведь было ещё и домашнее хозяйство. В разное время мы содержали кур, уток, затем одну корову, потом другую. Откармливали одну-двух свиней. Все это требовало ухода и постоянно требовало жрать, жрать. Бесконечные очереди за отрубями, сбор улиток, мешки травы – всё отрывало меня от основного занятия – гулять без перерыва. Через всю 6-ую Бастионную звучало: «Жорик, домой. В рваных сандалиях и грязных семейных трусах, не доиграв – «с кона деньги не снимать!», не докурив самокрутку из виноградных листьев, уныло по пыльным колдобинам плёлся Жорик, чтобы покорно подставить себя под ярмо очередного рабочего задания. Одна была выгода. «Почему не сделаны уроки?» – «Дак ить, занят был у вас».

Помнятся наши с бабушкой вечерние походы за помоями через весь город, к Минной стенке, где по предварительной договоренности, кок малого судна наливал нам два больших и два малых ведра помоев. Обратный путь в сумерках, через две горы, бабушка на коромысле, а я в руках тащили этот ценный груз домой. Не верится теперь, что это было со мной. Однажды на своём пути я встретил девчонок из своего класса. Мне стало стыдно. Завтра вся школа узнает, что Задорожников нищий бедняк. Он носит и питается помоями. Как можно сидеть с таким за одной партой?

Как-то раз кто-то сообщил, что в центральном холодильнике возле вокзала можно бесплатно набрать сколько угодно мороженого картофеля для скотины. Торопитесь! Скоро ничего не останется. Мы с мамой взяли мешки и отправились туда. В центре огромного зала на цементном полу в луже мутной жидкости высилась куча серо-коричневой массы с вкраплениями, отдаленно напоминающими картофель. Куча источала крайне неприятный запах. Мы с трудом набрали в мешки ещё хранивших форму клубней. Мокрая, трудно подъёмная тяжесть мешков ляпнула нам на спины. Пока мы доплелись до лестницы, ведущей к площади Ушакова, вонючая жижа пропитала одежду на спине и стала стекать по голому телу вниз к бёдрам. На средней площадке

лестницы мы остановились передохнуть. Я явно устал, но не подавал вида. Над нами стояла глубокая синева неба, перед нами открывался красивый вид на Южную бухту. Стояла глухая тишина. У мамы лицо было напряжено, взгляд устремлен в прекрасную даль. Я чувствовал нарастающее в ней отчаяние. Что же это за жизнь выпала на нашу долю? Молоденькая, хорошенькая женщина, в старом капоте и тряпочных тапочках, рядом с ней мокрый безликий недоросль. Выше, на площади, над нами прогуливались морские офицеры и нарядные женщины. Маме и её ребенку сейчас надлежало под белым кружевным зонтом и в красивых купальных костюмах тоже гулять по берегу моря и кушать много мороженого. Нежное облако мечты коснулось нас и улетело к другим. Мама достала пачку «Беломорканала» и закурила. После нескольких затяжек напряжение с лица исчезло, появилась решимость, и готовая образоваться слезка укатила обратно в глазик. Мама взяла меня крепко, любовно и надежно за руку и сказала: «Идем, сын!». Я: «А мешки?». Мама улыбнулась мне, махнула рукой, это означало, что всё же люди дороже, чем свиньи. Бодро и весело мы зашагали домой.

Несмотря на то, что трудиться приходилось много всем, меня все-таки щадили. Отец особенно следил, чтобы я не надорвался, не поручал поднимать и таскать слишком тяжелое. Ему с 14 лет пришлось работать молотобойцем в условиях, где с дуру не жалели пацана. Вот он и надорвался – образовались паховые грыжи с обеих сторон. Но однажды он не учел обстановку. Нужно было с Максимовой дачи привезти двадцатилитровую бутыль вина. Плата за шабашку, которую там сотворили отец и дядя. Транспорт – двухколесный трактор с прицепом. Однотактовый двигатель, равномерно стуча, мощно тряс кабину с железным сидением. Через длинную трубу, как у паровоза, с каждым выхлопом вылетало круглое сизое кольцо отработанного газа. Вонь стояла: «я тебе дам!» Техническая конструкция имела прозвище «Капиздох». Смотреть, как вылетают кольца из трубы, бежать и кричать «Капиздох» (слово выглядело как запретное ругательство) – вот это дело, вот это занятие! Это вам не дохлую крысу крутить за хвост над головой, как рекомендовал Г.Финн.

Так вот, мой крестный, дядя Вася, загрузив в себя, сколько смог вином «Портвейн Таврический», усадил меня на холодное железное сидение трактора, поставил у меня между ног двадцатилитровую стеклянную бутыль с вином и наказал: «Смотри не разбрызгай». О том, что мне оказано высокое доверие охранять и транспортировать ценнейший груз, даже говорить не следовало. Такое задание мог выполнить только советский

пионер-герой.

Дорога шла проселком. Колеса трактора реагировали на каждый бугорок и выступ, а так как по своей природе он был непомерно прыгуч, то кабина тряслась и конвульсивно дергалась в непредсказуемых направлениях. А в кабине ведь был я в обнимку с громадной стеклянной бутылью, горлышко которой доставало мне до носа. Водитель, молоденький и пьяненький мальчишка, не в счет. Он держался за руль, и это позволяло ему ощущать как единое целое дорогу, колеса, штурвал и себя, родного. У меня же было всё не так. Дорога, трактор, бутыль жили каждый своей жизнью. Особенно своевольно вела себя бутыль. Вероятно, ей изрядно надоело её содержимое, и она, пусть ценой своего скромного бытия, норовила трахнуть своим стеклянным боком обо что-нибудь железное, чего в кабине было предостаточно. Взвиваясь ввысь, она больно тыкалась мне в лицо горловиной. Опускаясь же, в досаде, что попытка разбиться и в этот раз не удалась, она массивным стеклянным дном безжалостно топтала и месила мои бедра и юный росток между ними.

Крейсерская скорость нашего экипажа составляла в среднем 30 км, поэтому передвигались мы медленно, и путь наш был долог. Всё это время бутыль старательно выполняла задуманное. Молоденький семнадцатилетний капитан нашего средства передвижения со временем взял правильный и полный градус, перекачав его из желудка в благородную среду коры головного мозга. Он пел: «Мы вели машины, объезжая мины», вспоминая степи под Карагандой.

Наконец мы прибыли. Из меня вынули злощастную бутыль. «Капиздох» на сумасшедшей скорости умчался в непроглядную даль. Я, заполненный до горла слезами, но суровый и непроницаемый мужественной походкой, как Юл Бриннер в «Великолепной семерке», проследовал к обеденному столу. Там уже все были готовы посмотреть, что же это за вино? Мне налили севастопольскую стопку. Я что-то съел и заснул до утра.

Утром я показал фиолетовые бедра маме. По мере распространения информации стало нарастать количество «Ох!». Отец бушевал: «Ах я осёл! Ах, остолоп!». И при этом хлопал себя ладонями по бёдрам: «Ну, Васька, додумался». Крестный отец Василий Васильевич поднял кулак с отогнутым большим пальцем, хитро подмигнул и весело кинул: «Ну, Жорка, стервец! Нормалёк!»

3. Продолжаем стройку

Близится зима. Заканчивается 1944 год. Дом пора достраивать. Хоть и теплые наши зимы, но без потолка и пола дом не натопишь. Кстати, отапливались-то опилками. Продукт практически ничего не стоил. Громадный прицеп с опилками привозил уже упомянутый «Капиздох». Горели опилки плохо, не создавая жара, часто дымили. Тем не менее, в комплексе с другими горючими материалами мы отапливались опилками несколько лет. И это было большим подспорьем нашей экономной экономике.

Была от опилок ещё польза. На них мы коптили рыбу. А рыбу продавали. Для этих целей хорошо шла ставрида и кефаль. Слава Богу, в те времена раба ещё в море была. Специалистом по копчению была тётя Таня. Коптильня представляла яму-печку, над которой устанавливалась деревянная бочка, накрытая мокрой редкопетлистой мешковиной. Такой способ копчения требовал постоянного контроля, навыков и умения. Золотистая рыба, выложенная на белоснежный накрахмаленный рушник, выглядела аппетитно привлекательной. «А запах! Не говорите мене ничего».

Вечным реализатором продукта была бабушка. Милиционеров она не боялась. Рэкета тогда не было. Рыба распродавалась мгновенно. Выручка уходила на ненасытную стройку.

Был ещё один коммерческий путь («опасный как военная тропа») – торговля жареными пирожками на вынос, то есть на рынок. Выгода состояла в том, что по заниженной цене покупались мешки с мукой прямо с борта транспортного судна, только что пришедшего из Румынии. Далее мука превращалась в кислое тесто. Из него изготавливались пирожки с картофелем и горохом. Мама лепила, тётя Таня жарила. Я нёс ведро с пирожками к границам базара и останавливался в развалке, изображая непричастность к происходящему. Где-нибудь за винным ларьком бабушка торговала малыми порциями запрещенного товара. Такая тактика предусматривала, что если вдруг бабушку накроет милиция, реквизированный продукт не окажется значительной утратой. Когда пирожки распродавались, бабушка тайными тропам шла за очередной порцией туда, где «барон фон Гринвальдус (её внук) всё в той же позиции на камне сидит» (К.Прутков). В хороший для «нашего общего дела» день (это уже что-то партийно-революционное, подпольное) «барон» по несколько раз скакал, читай, плёлся, за новой порцией крамольных пирожков. А в это время на родной улице «…бароны

воюют, бароны пируют». Отставив кубки, то бишь, клюшки, они кричали: «Ты куда?». Но обет молчания был наложен на мои уста. Фамильная честь гнала барана туда, где ждала его бабушка и серый волк в синей форменной фуражке с красным околышем. Некому было ему негромко и вкрадчиво сказать: «А, Вы, Штирлиц…(тьфу!) – мальчик-баран, останьтесь». Нет же, его уносило вдаль в облаках пыли. Бизнес!

Однажды, прибыв в назначенное место с очередным грузом, я увидел в щель между развалинами, как милиционер препровождал бабушку в участок. Она шла, понуро неся перед собой на животе миску, покрытую белым полотенцем. Я замер. Как же так, немцев нет, а людей арестовывают? «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?». Срочно и конспиративно я вернулся с ведром пирожков домой. Вариант провала не исключался, но война приучила надеяться на авось. И вот на тебе! «…так сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них» (Экклезиаст).

Кратковременная немая сцена. Затем срочная ликвидация всех признаков производства. А вот и бабушка! Старушка не злостная спекулянтка. Попадается впервые. Идите себе, но больше, чтобы ни-ни. Наш малый бизнес был прикрыт. На память остались добротные холщевые мешки из-под муки с немецкими готическими буквами и фашистской символикой. Из них пошили постельные тюфяки, которые служили семье десятилетия. Вывести буквы и знаки не удалось ни какими средствами.

А вот еще редиска. На нашем небольшом участке земли нам удавалось выращивать её рано, к 9 Мая. Благодаря точечной посадке и обильному поливу (моё ежедневное страдание), вырастала небывало крупная и сочная редиска. Торговля шла живо, прямо с грядки. Это тоже был доход.

Окружавшие нас соседи, вялые, ленивые, безынициативные люди, считали нас куркулями и завидовали. Как будто не видели, как круглосуточно трудятся все члены семьи. Их раздражение и презрение возрастали, когда в редкие праздничные дни собиралась вся многочисленная родня и, немного подвыпив, пела хорошо и ладно. Так, наверное, в период раскулачивания торжествовал бездельник и горлохват, и страдал хороший хозяин.

И вот внутри дом стал пригоден для жилья. Печь с грубой на все четыре комнаты держит тепло. Высыхает свежая краска, и ощущение нового жилья ещё сильней. Есть даже маленькая ванная комната, а в ней настоящая ванна. Ванну отец нашел в степи. Её бока были прошиты пулеметной очередью, эмалированное покрытие изрядно повреждено. Папа выточил специальные медные заглушки на резьбе, которыми были

прикрыты пулевые отверстия. Я ликовал, впервые в жизни мне предстояло испытать наслаждение погрузиться в горячую воду, в настоящую ванну. О! «Вы, живущие жизнью завидною, имеющие ванну и теплый клозет» (В.Маяковский). Вы, теперешние любители дискотек, не понять вам радости юного дикаря.

Как много большой воды. Из черных чугунных труб можно извлечь горячую и холодную воду и это совсем не трудно. Под огромным котлом гудит пламя, и древний запах костра будоражит неясные воспоминания. Сейчас принесут мамонта. Но нет – это заводят младшего брата. Его загружают ко мне. Ванна заполняется резиновыми игрушками. Первобытный кайф теряет своё очарование. Я гордо покидаю вольер. Нарушено святое библейское право первородства. Но неумолимо патриарх соблюдает новый советский «Табель о рангах». Аргумент: «Он маленький». «А я, как последний негр, как Карла». Колоть огромные кругляки, так это мне. Правда, лукавлю, любил я это дело. Мне нравилось с одного маха, с надсадным и звучным придыхом раскалывать полено на две половины.

Ну да ладно. Грядут другие первобытные удовольствия. Скоро Новый Год. Ёлка. Но ёлки нет, и ёлками не торгуют. А поэтому снаряжается экспедиция подальше в горы, в лес. Рано утром мы отправляемся на мотоцикле к Байдарским воротам. За рулем дядя Вася, отец сидит в коляске, я на заднем сидении. Наша цель – добыть ёлку, а может быть, и две или даже три. Ещё не родились будущие экологи, зеленые и вообще борцы за всё или против всего, лишь бы выгода была. Тем не менее, путешествие будет опасным. Если конкретно накроют, то запрессуют, и штраф корячится, сто пудов. Пардон. Этот сленг не нашего времени. Язык должен соответствовать обстоятельствам. И, тем не менее… Мы есть кто? Мы – севастопольцы! У нас как у Гарри Моргана (Хемингуэй) к внутреннему боку коляски в промасленной козлиной шкуре прикреплено бельгийское ружье «Зауэр» – три кольца, у нас немецкий штык в железных ножнах, на нас сапоги горных стрелков. Дикий Запад отдыхает!

Мотоцикл влетел под своды Байдарских ворот, и дробный стук двигателя превратился в длинную гулкую очередь скорострельного тяжелого пулемета. Южным отверстием короткий тоннель выстрелил нас в безоглядную синеву космоса. «Этот синий, синий цвет… в детстве мне он означал синеву других начал» (Бараташвили). Тишина заткнула уши. Море стало небом. Замерло сердце, и я оказался в другом измерении. Поразительный контраст. Только что перед воротами синяя холодная тень покрывала окрестность, лёд в лужах и снег на северных склонах холмов. И вдруг, солнце, море, небо, жара,

теплый хвойный воздух. Потом я узнал – эта узкая полоска земли вдоль берега моря называется субтропики!

Да будет нам вечное прощение, мы срубили три ёлочки, плотно упаковали их в брезент и «спрятали» в коляске. Больше мы так никогда не поступали. Две ёлки были проданы, одна оставлена себе. Ёлочных игрушек не было. Цветные бумажные цепи, хлопушки, бомбаньерки клеили сами. А в лесу под ногами шишки, чем не игрушки? Мы набрали мешок. Дома несколько штук покрасили серебряной краской (алюминиевая пыль с ацетоном), повесили на нашу ёлку. Получилось красиво. Покрасили остальные, и бригада женщин вынесла их на базар. Ажиотаж непередаваемый. «Ах, черт возьми! Как же раньше не додумались?». А до Нового Года оставалось только три дня.

Заработал конвейер. Мотоцикл в лес и назад. Мне вбивать гвоздик в попку шишке. Мама привязывает к нему петлю из суровой нитки. Татьяна красит. После сушки бабушка несет игрушки на базар. Народное творчество. Милиция претензий не имеет. Набегает приличная сумма, чтобы по-человечески и «… весело, весело встретим Новый Год!» (детская песенка). На следующий год дело не пошло, появились фабричные игрушки, да и милиционер был уже не тот.

4. Новый, 1945 год

Праздники тогда гуляли в складчину и компаниями. Именно такие слова были в быту. Компанию составлял устоявшийся годами круг родственников, хороших давних друзей. Каждый приносил с собой к столу то, что мог, это и была складчина. Мало того, с собой приносили рюмки, тарелки, вилки и даже иногда стулья. Гуляли попеременно в разных домах. Решение, у кого собираемся, оговаривалось заранее. Наша семья предпочитала гулять у себя, с добавлением умеренного количества родственников со сторон. Так и предполагалось встретить новый, 1945 год, в новом доме. Людей чужих, но нужных не бывало никогда. Подобный деляческий подход отсутствовал в роду. И вот надо же, двоюродная сестра Надя, тогда директор крупного гастронома, притащила с собой прокурора (!) и своего очередного хахаля, пьяного Героя Советского Союза. Герой оказался простым хорошим парнем нашего круга, в дальнейшем желанным гостем на наших праздниках. Но прокурор! Мужчина в возрасте, в устрашающей ведомственной форме, в общем, прокурор с лицом прокурора. С ним, чрезвычайно молодая и красивая брюнетка, вся в красном и в золоте. Ну прямо красная свитка из «Сорочинской ярмарки».

По традиции, меня на 10 минут усаживали за общий стол встретить Новый год, затем отправляли в постель. В этот раз моим визави оказался прокурор. Тяжелым взглядом он уставился на мальчика, которому рано быть тут, так как потом за такой вольницей следует наказуемое законом деяние и тюрьма. А может быть, он думал: «Вот мальчик видит старого дядю и с ним молодую красивую тётю и не знает, что у дяди престарелая жена и малые дети. Но это ерунда, мальчик. Это законом не запрещено, а то, что не запрещено, то можно». Затем прокурор встал и провозгласил здравицу за товарища Сталина. А ведь по традиции полагалось сначала выпить за старый год. Но дяде прокурору было известно, что тов. И.В. Сталин не терпит двоеженства и наказывает за любые проступки всех одним сроком лишения свободы на 25 лет, так как другой цифры не знает. Поэтому гражданин прокурор надеялся, что его заздравие как-то дойдет до вождя в качестве своеобразной индульгенции. По его прокурорскому мнению, всегда и во всякой компании есть человек, который бдительно сообщит куда надо. Тут меня выперли из-за стола, и прокурор остался без наблюдателя. В том, что в тот вечер среди нас, просто по определению, как теперь говорят, не могло быть стукача, я абсолютно уверен.

Утром нового года я проснулся от переполоха, царившего в доме. Дело в том, что ярко-красная прокурорская брюнетка, женщина-флаг, перед началом традиционных танцев парами под радиолу сняла с себя золотые доспехи и положила их под зеркалом на комод. Под утро, когда стало затихать искусственно созданное веселье, прокурорская молодуха, накинув на себя дорогую шубку, которую прокурор, вы не поверите, выиграл по трёхпроцентному выигрышному государственному займу, не обнаружила своего золота на комоде. Начался шмон по всему дому. Как бы невзначай брюнетка кинула: «Может ваш мальчик?». Это вызвало тихое озлобление всей родни. Что же, обыскивать всех присутствующих? Решили, что украсть никто не мог. Следует всем успокоиться. При послепраздничной уборке все отыщется. Но золота не нашли. Прокурорская дама пик потребовала возмещения ущерба. «Раз в вашем доме, то вам и отвечать».

Что ж, пришлось по крупицам, на протяжении длительного времени моим дурашкам собирать дань для этой твари. Мне неизвестны подробности завершения этого дела. Меня не посвящали. Золото так и не нашли. Предположение, что кто-то из наших мог такое сотворить, категорически отвергалось. Я и теперь могу это клятвенно подтвердить. А вот к чужой тете в красном есть вопросы. Какую такую любовь могла испытывать эта лярва к прокурору? Неужели непонятен социальный статус особ такого толка и их принадлежность к племени авантюристов? И, наконец, зачем было снимать украшения? Если они неудобны и стесняют тебя, то твои ли они? А если твои, то зачем надевать, чтобы потом вскорости снимать? И ещё, господа присяжные, обратите внимание: украшения были оставлены в крайней комнате, где не было окон, и не включался свет. О местонахождении украшений знала только «потерпевшая». Требовалось мгновение, чтобы схватить это и сунуть за лифчик. «О. Коломбо, где ты?»

5. Базар

Севастопольский центральный базар приютился у излучены Артиллерийской бухты. На небольшой площадке с остатками асфальта протянулись два ряда дощатых, плохо оструганных, столов-прилавков. Над ними, треугольные навесы, не от чего не защищавшие. С этих столов шла небогатая личная торговля. Весов не было. Продукция отпускалась стопками, стаканами, банками, кучками, десятками. Торговали семечками, зерном, махоркой. Реже рыбой, фруктами, овощами, яйцами.

На стороне базара, обращенной к городу, прежде стоял одноэтажный пассаж. Теперь только обгорелые стены. В загончиках между стен устроились парикмахер, фотограф и тир. Однажды бабушка после удачной продажи чего-то решила увековечить внуков. Фотограф заявил, что фотографии выполняются только 6х9 или на паспорт. Дефицит материала. Мы решили сделать 6х9 и стали у забеленной стены со следами от осколков и пуль, как на расстрел. Неуверенный мастер навел на нас деревянную коробку, накрылся черным покрывалом и под ним постарался, установил себя в приличествующее торжественному событию положение. Из темноты покрывала он с трудом извлек руку, с ещё большим трудом отыскал крышечку на объективе и эффектным привычным движением сдернул её. Описав в воздухе круг, он начал многотрудный путь возврата крышки на объектив. Победил опыт. Выйдя из темноты, мастер неуверенно сказал: «Готово».

На другой день на фотоснимке величиной с детскую ладонь в клубящемся тумане мы смогли разглядеть три парящих над землей силуэта. Определиться, кто есть кто помогали метрические данные. В центре бабушка, та как она больше всех, по бакам, мальчики в матросках. Маленькая тень – меньший брат, большая – старший. Мастер художественной фотографии сегодня выглядел ещё неувереннее, чем вчера. Проще говоря, он был вне зоны доступа. Бабушка махнула рукой, что означало одновременно: ладно, Бог с тобой, мастер художественного литья, деньги завтра, и мальчики, домой. Фотография долго стояла на трюмо, потом пропала. А жаль, все же память 1944 года.

ТИР – было грубо написано на корявом листе железа. Кроме стрельбы из воздушных винтовок, предлагалась игра на большие деньги, которая заключалась в следующем. Метрах в шести от опорного прилавка, для стрельбы из винтовки, на земле лежал кусок фанеры, на котором разной краской были намалеваны три круга. Желающему (предварительно оплатившему предстоящее

удовольствие) выдавалось пять алюминиевых кружков. Цель: забросать любой кружок на фанере (чем дальше, тем больше приз) выданными металлическими пластинками, так чтобы ничего не выглядывало. Желающих рисковать не наблюдалось. Вяло постреливали из «Воздушек» непостоянные, нерезультативные стрелки. Прицелы у винтовок были сбиты, попадания в цель были случайностью.

Но вот появлялся молодой парень, почему-то я определил его для себя: «это вор». Был он конопатый, с длинным узким носом и почти без подбородка. На нем был надет новенький коричневый кожаный реглан, возможно женский, очень узкий ему в плечах, отчего казалось, что плеч у парня и вообще-то нет. Был он мне неприятен, от него исходила опасность. Он грубо расталкивал толпу. К нему обращались с почтением. Владелец тира скисал, но был подобострастен.

Коричневый реглан брал порцию пластинок, небрежно забрасывал дальний круг, получал положенный выигрыш и удалялся с самодовольной усмешкой. Сдается мне, что он «держал» базар.

Стоял базар близко к берегу бухты. Отходы жизнедеятельности базара сбрасывались, смывались прямо в бухту. Здесь же было устье речки, русло которой прослеживалось через весь город от начала улицы Ялтинской. Пересохнуть и прекратить свое существование речушке не позволяла постоянная активная помощь прибрежных жителей, городская баня и в конце – базар. От берега в бухту вдавался бревенчатый полуразрушенный пирс. С этого пирса мы, дети ближнего ареала, прыгали вниз головой в то, что казалось нам морем. Это называлось «купаться». И представьте себе, никто никогда от этого не болел. Повзрослев, мы перешли к нашим морским ваннам в район мыса «Хрустальный».

На стороне, противоположной пассажу, располагался ряд деревянных зеленых ларьков. Сначала их было три. Один торговал восточными сладостями (баклавой), другой мелкой галантереей и в среднем чаще всего продавалось молочное суфле и изредка вино на разлив. В этом ларьке некоторое время работала моя тётка Таня. О том, что привезут бочку с вином, население базара узнавало заранее. Мужчины создавали у ларька бурлящую толпу еще до прибытия вина. А уж когда откидывалась передняя стенка ларька, образуя навес над прилавком, толпа свирепела, и кипение достигало высшей точки. В тёмную глубину ларька через головы соседей тянулись десятки рук с зажатыми в кулак деньгами: «Дай! Тётка, женщина, сестрица, дай вина! Дай залить пожар внутри «органона», дай заглушить боль и страдания

мужской души, дай просто для веселья, дай для поправки». Вино выдавалось в пол-литровых банках. На всех банок не хватало. Толпа теснила ларек, и он, как избушка на куриных ножках, трясся и передвигался рывками по площадке. Получившие порцию хотели ещё, страждущие торопили пьющих. Стоял гам, мат. Удовлетворить всех желающих никогда не удавалось.

Еще ожесточенней вела себя толпа мужчин, когда продажа вина производилась под стенами стадиона, перед началом футбольного матча. Прилавком для тетки служил только стол, за которым не укрыться. На помощь приходила вся семья, отгораживались пустыми бочками, ящиками, мотоциклом и собственной грудью. Нет в моем повествовании порицания этим молодым мужчинам, прошедшим войну и желавшим русского праздника, пусть хоть и в таком виде.

6. Загородная балка

Так ли раньше называлось небольшое углубление между холмом с кладбищенской стеной и противоположным возвышением с 6-ой Бастионной? В моем детстве у этой балки не было имени. Здесь в низине проходило шоссе, раньше называвшееся Херсонесским. Я был очевидцем того, как по этому шоссе гнали бесконечные колонны пленных. Сначала наших, а в 1944 году – немецких. В балке хоронили собак, пасли коров и коз. Не помню, чтобы сюда сбрасывали или свозили мусор. Так что балка была в основном чистой, поросшая высокими травами. Хозяйки брали отсюда хороший чернозем для огородов и цветочных горшков. Здесь немцы устроили учебное стрельбище. Мишени устанавливались у подножья кладбищенского холма. Мы с приятелем ходили собирать стреляные гильзы. Однажды стали вертеться возле группы солдат, стрелявших из карабинов. Зачем нам это было нужно? Непонятно. Просто любопытство. Ох, как негодовал отец, когда я рассказал ему об этом.

Возле стрельбища была огромная воронка, на дне которой набросаны зенитные снаряды, противогазы, какая-то военная утварь. Опасное дело, но мальчишки разряжали снаряды только ради того, чтобы добыть шелковые мешочки с порохом. Для нас, слава Богу, все обходилось благополучно. А вот, кажется, весной 45-го сын очень большого начальника Черноморского флота, десятиклассник моей 19-й школы, взорвался на таком снаряде. Как говорят, он по причине плохого настроения бросал эти снаряды без всякого злого умысла. К счастью, в это время поблизости не было никого из ребят. Трагедия была городского масштаба.

Вот что ещё я видел в легендарной балке. Кажется, это было 10 мая 1944 года. Я сидел на скате холма под Спортивной улицей. Вдруг на шоссе появились две машины, потом я узнал, что называются они «Студебеккеры». Вместо кузова на машинах были установлены непонятные конструкции, зачехленные зеленым брезентом. Машины съехали в балку. Бойцы сдернули чехлы. Обнаружились ряды, напоминающие рельсы, вздернутые к небу градусов на 45. Бойцы отошли и залегли в траву. Вдруг с шипением из глубины рельсовой решетки стали вылетать огненные стрелы. Всё это продолжалось несколько секунд. Затем вдали, на горизонте, в районе Маяка встала гряда клубящегося дыма, потом долетел грохот разрывов. Машины загудели моторами, развернулись и уехали. Только потом я узнал, что видел залп гвардейских минометов «Катюш».

Здесь, в балке я пас наших коров. Когда уходил в школу, привязывал их на длинной веревке к колышку. Однажды случился забавный курьез. Я направлялся в школу и увидел с горы, что на голове у коровы надета железная бочка, которой она ритмично размахивает. Долой школу! Какая радость! Нужно срочно спасать дорогое животное! Я побежал вниз.

Оказалось, что бочка без дна и внутри её выросла длинная сочная трава. Глупое животное, находясь на привязи, сожрав траву окрест и вокруг бочки, позарилось на такую прекрасную траву внутри её. Корова сунула свою дурацкую рогатую башку в бочку, съела всю траву, но неведом был ей коварный людской закон, что за удовольствия надо платить. Краса и гордость коровы – рога, заклинили буйну голову внутри металлического шлема. Я с трудом стянул бочку с коровьей головы. Ни малейших признаков благодарности или хотя бы признательности за героическое спасение от ненавистных оков скотина не выразила. Меланхолично и достойно она отстранилась от меня и стала доедать оставшуюся траву. Так, значит! Тогда за заслуженной благодарностью и восторгами всей семьи – домой. «Ты почему не в школе?», – постно и обыденно (ведь не знают же о подвиге). «Так я же …. спас!» – «А ну, давай быстро в школу». Да уж, не делай добра – не получишь зла. В школе классный руководитель допросил с пристрастием, почему пропустил два урока. «Да так, знаете ли, Маривана, подзадержался в пути маленько» – «Ах, вот как! Ну, тогда иди к доске». Спустя «t» время – «Садись, двойка». Не расскажешь ведь никому о том, что выручал корову. Позорные насмешки всего класса обеспечены. Sic transit Gloria mundi! Так проходит мирская слава!

Но вот нарушен патриархальный покой безымянной балки. Бульдозеры равняют широкое поле. Устанавливаются армейские палатки. Между ними асфальтируются узкие дорожки. Волейбольная площадка. Деревянный летний кинотеатр. В чем дело? Что такое? К нам на строительство города едут охваченные комсомольским порывом молодые женщины из глубины России. Требуются штукатурщицы, маляры, плиточницы, подсобницы и многие прочие. Кроме того, нужны просто женщины, невесты. На рейде стоит Черноморская эскадра. Срок службы моряка 5 лет. Матросский борщ и макароны по-флотски, да компот, да адмиральский час, ребята – кровь с молоком. Что остается без женского пола, никакой галантности? Выпить да подраться. Конечно, нельзя, конечно, беспощадно хватает патруль, конечно, «губа». Коренное население не имеет никаких послевоенных сил удовлетворить матросскую мечту о женской ласке. Разумное и гуманное решение принимает власть. Вот вам и рабочая сила, и

невесты на выбор. Девушки обживают палатки. Безымянная балка приобретает в народе первое имя – «Палаточный городок». Потом строят каменные бараки, но первое название остается ещё надолго. Матросы ходят к девушкам в гости. Но в основном встречи и знакомства проходят на танцплощадках. Основная танцплощадка города располагалась на Историческом бульваре. Здесь, здесь под фокстроты и танго возникают и рушатся любовные связи, здесь плетутся милые интрижки, здесь торжествует здоровая молодость нашей прекрасной страны, здесь в тёмных далях трещат влюбленные кусты туи и волчьей ягоды, здесь беспричинно и безнадежно мечутся с ошалелыми глазами подростки, опьяненные ароматом чужой любви.

Только спустя много лет балка застраивается многоэтажными домами. Появляется стадион и плавательный бассейн. Теперь этот район называется «Загородная балка».

7. Как я был пионером

Я захотел стать пионером, когда увидел, как старший брат надел красный галстук и прищемил его специальным зажимом. На зажиме был изображен костер и выбиты слова: «Будь готов!» – это сверху, а внизу – «Всегда готов!». Дело было ещё до войны. После войны галстуки стали повязывать узлом.

Желание усилилось, когда я увидел и близко постоял возле пионерского барабана и горна с вымпелом. Подаренный мне детский картонный барабан и жестяная зеленая дудка не смогли меня утешить. Полное очарование наступило, когда я увидел настоящий пионерский костер.

В пионерском лагере в «Алсу» отбывал свой пионерский срок старший брат. Туда на торжественное закрытие лагеря мы поехали на дядином мотоцикле «Октябрь». Теперь на таких мопедах гоняют подростки. Меня втиснули в щель между дядей и тётей. Весь долгий путь мне было тесно и душно, копчик бился о железную раму мотоцикла, и я все время боялся, что мы упадём и разобьёмся. Дядя был сильно не трезв.

Но все же мы доехали. Жалкие кусты. Зеленые деревянные будки. Лужа вместо реки. Брат здесь в пионерских начальниках. Он сводил меня к большой площади, где в центре из сухих веток была сложена трехметровая куча – будущий костер. Потом меня затискали тётки-пионерки, потому что брат заставил рассказывать им стишки. От них мне захотелось спать, и те же девчонки уложили меня в раскалённой деревянной будке. Сон был тяжелым, и я проснулся больным. Солнце село. Отряды собирались на торжественную линейку. Пришла пора «Элевсинских мистерий».

После традиционной сдачи рапортов линейка превратилась в круг из сидящих на земле пионеров. Вышла луна. В глубокую темно-синюю тень от кучи хвороста выставили меня. Оттуда, из темноты, невидимый голос стал вещать балладу о коричневой пуговке. Когда эта часть ритуала закончилась, появился главный шаман, начальник лагеря. В руках, как и положено шаману, он держал факел. В одно мгновение вспыхнул костер и вознесся высоко к небу. Ещё выше взлетели искры. Яркий свет вырвал из темноты круг участников мистерии. Нестройный хор голосов завопил: «Пусть ярче горит наш пионерский костер!» Но, несмотря на это пожелание, костер осел, и уже в полумраке жрица огня, старшая вожатая, надрывно прокричала в небо: «Пионеры, в борьбе за дело Ленина – Сталина будьте готовы!» Все встали. Сделали пионерский салют и с умеренным экстазом

ответили: «Всегда готовы!» Потом хором пели песни. «Взвейтесь кострами, синие ночи!».

Потом была война.

Когда наши освободили Севастополь и в ускоренном темпе был закончен не начинавшийся учебный год, славное дело организовал горком Партии. Чтобы детвора не шаталась по развалкам и чтобы подкормить дистрофиков, при школах и просто в брошенных усадьбах были созданы детские площадки. Я попал на такую площадку в районе «Рудольфы». Просторный Дом с большим садом. Пребывание под надзором с 8.00 до 18.00. Трехразовое питание. Небольшая библиотека и незатейливые детские игры.

Но вот появляется старшая пионервожатая. Будем организовывать пионерский отряд. Кто не пионер, выйти из строя. Я и ещё несколько человек вышли. «Вас через неделю будем принимать в пионеры. Вот текст пионерской клятвы. Переписать и выучить».

Ну, вот! Близок час исполнения заветного желания. Пионерская клятва выучена. Её содержание помню до сей поры. Клятва суровая, создана в военное время. В конце нешуточная угроза нарушителю клятвы. «Так нет же, не бывать тебе пионером!», – сказал ржавый гвоздь и вонзился мне в пятку. Через сутки нога стала болеть, и я не мог на неё наступать. Накрылась площадка, ритуал приема в пионеры пройдет без меня. Ещё через сутки стопу раздуло, боль постоянно усиливалась, появился ознобы, и поднялась температура. «Грифы, почуяв добычу, стали кружить в небе надо мной». Лекарств не было никаких. Скорой помощи и участковой службы не было. Женщины клана собрали совет и решили, что надо меня нести к хирургу и резать. Поликлиника в пятистах метрах на углу нашей улицы. Идти я не могу. Костылей нет. Мама берет меня на спину и выносит из дома. Тут я начинаю так орать, что на улицу выползают все соседи. Мама вынуждена вернуться. Ночью у меня начинается бред. Периодически знобит. Утром температура до сорока. «Люди! Это же сепсис. Я умираю».

Появляется отважный и смелый человек, моя двоюродная тетка Надежда. Женщины о чем-то шепчутся за стеной. И вот молча и даже торжественно, они приближаются к моей кровати. Чую недоброе и начинаю что-то верещать. Тётя Надя спокойно говорит: «Покажи ножку» и тут же обхватывает лодыжку мощной пролетарской рукой. Тетя Таня накрывает мою голову подушкой, а мама всем своим телом прижимает меня к кровати. Личность человечка повержена и раздавлена. Сквозь подушку я ору: «Бляди,

бляди!».

Папиной опасной бритвой дорогая моя спасительница вскрывает гнойник, да ещё и выдавливает до пятидесяти граммов гноя. Какая там асептика-антисептика, какой дренаж и гипертонический раствор. Повязка, и меня отпускают. Вскоре я впадаю в забытье, в сон, до следующего утра. Какое светлое пробуждение! Нет боли. Нет температуры. Я буду жить! Слава Богу, я выздоровел. Вот только пионером не стал. Насколько все было серьёзно, я осознал только потом, когда проработал некоторое время хирургом.

Детская площадка отработала свой срок. Пионерская организация самораспустилась, не оставив после себя никаких следов и никакой памяти обо мне. «Отряд не заметил потери бойца» (М. Светлов). 1 сентября я отправлялся в новую школу № 19, где меня никто не знал. Я смекнул, что могу произвести себя в пионеры, минуя формальности посвящения. Так лже-пионер, пионер самозванец, мальчик с временно оккупированной территории внедрился в пионерскую организацию школы. Легенда прикрытия: меня приняли в пионеры на детской площадке, вот на ноге ранение, похожее на входное отверстие пули. Все пионеры отряда рассеяны по другим явкам по всему городу. Разглашать адреса не имею права, так как не знаю. Тем не менее, в первые дни я боялся разоблачения. Какой позор! Мальчик с вражеской территории, пионер-самозванец. Но не было пролетарской бдительности у окружающей шпаны.

Вскоре я легализовался в связи с насильным избранием звеньевым. Это самый младший пионерский чин, но главное – оказано доверие. В четвертом классе все были переростками. У мальчиков рос пух под носом, а девочки имели всё, что надо женщине, и бегали на танцы с матросами на Исторический бульвар. Я был самым маленьким и по возрасту, и физически (13 лет, рост полтора метра). На правый рукав тужурки мне нашили красную лычку, но авторитета мне это не прибавило. Во дворе школы я кое-как произвел построение своего звена из десяти мужчин и женщин. Мои команды, типа «смирно» и «равняйся», вызвали у взрослых детей такие обидные положения тел, жесты и вопли, что к горлу подступил комок, а к глазам слезы. В отчаянии и со злостью я сорвал с себя красную лычку (так не доставайся же никому) и покинул ристалище. Учился я посредственно, карьерный рост, обозначаемый увеличением количества нашивок на рукаве, мне не грозил. Поэтому я без всякого сожаления расстался с чином звеньевого. Только классная руководительница, не во что не вникавшая от отупения работой с

таким контингентом, недоуменно пожала плечами и тут же спросила: «А кто у нас желает быть звеньевым?». Оказалось, что у нас никто ничего не желает.

В те годы, когда я был пионером, в Севастополе бытовала такая дурацкая пионерская игра. К тебе мог подойти любой, ухватить в кулак твой галстук и сказать: «Ответь за галстук». В ответ следовало отвечать: «Не тронь рабоче-крестьянскую кровь, оставь её в покое». Если жертва не отвечала или ответ грешил неточностью, то вопрошавший имел право снять с несчастного галстук и считать его своей собственностью. Жуть! Кто это придумал? На каком уровне развития интеллекта находилось это пионерское существо? Особенно глупо и пошло выглядел ответ, поражающий своей абсурдностью. А уж акт снятия галстука.… Если вопрошавший был больше и сильнее тебя, а только так обычно и обстояло дело, то прощай галстук. Жаловаться, не сметь. На жалобу наложено негласное табу.

По полю возле школы постоянно бродила шайка пацанов разного возраста, возглавляемая подростком-гориллой лет пятнадцати. Вожак готовился в тюрьму, ограничиваясь пока набегами на одиноких мальчиков с целью чего-то отнять или просто покуражиться. В своей среде он был знаменит тем, что у школьных окон извлекал из штанов свой лингам, оттягивал двумя пальцами кожу крайней плоти и мочился внутрь себя, т. е. в образовавшийся кожный мешок. Или анатомия у гариллойда была такая, или этому предшествовали длительные тренировки, но из кожного мешка образовывался пузырь. Сжимая рукой этот пузырь, он через узкое отверстие между пальцев выпускал узкую и дальнюю струю, метра на два. К неописуемому восторгу своих клевретов, он гонялся за ними по школьному полю, стараясь попасть струёй в голову.

Шайка накрыла меня, одинокого, далеко от школы. Грязной лапой вожак ухватил мой галстук, за спину зашли два подмастерья. Последовало требование ответить за галстук. Дурацкий ответ не принимала душа, и я стоял молча, понимая тщетность сопротивления. Верзила снял с меня дорогой шелковый галстук и ударом ноги вытолкнул из круга оголтелых пиратов. Ватага с ликующими воплями унеслась в неведомом ей самой направлении.

Дома мама спросила: «А где галстук?». Я рассказал о случившемся. «Где я напасусь на тебя галстуков? – сказала мама. Надо было постоять за себя». «Так меня же прибили бы!». Кто из нас был прав? Теперь я думаю, что мама. Но я точно знаю, что в случае неповиновения галстук все равно бы отняли, да ещё младшие члены шайки отработали бы на мне постановку удара.

8. Школа № 19

Небольшое двухэтажное здание светло-серого цвета. Все классы окнами на юг. Очень маленький вестибюль – здесь учительская и кабинет директора. С одного бока подсобные помещения, где живут бездомные учителя. Услуги во дворе. Школьный двор огражден стеной. Если через пролом в западной стене выйти за пределы школьного двора, открывается вид на Карантинную бухту. Крутой скалистый спуск, поросший травой, ведет к узкому заливу. На противоположном берегу колючей проволокой ограждена запретная зона. Вдали видны развалины Херсонеса и храма св. Владимира. По правому берегу располагается БТК (база торпедных катеров).

Здание школы отремонтировано шефами ОВР – охрана водного района. Занятия в две смены. Парт нет. Каждый учащийся должен обеспечить себя, чем сможет, чтобы сидеть и писать. Я приношу табурет и низкую скамейку.

Как положено, занятия начались 1 сентября. В 4-а классе появился мальчик, самовольно проникший в пионерскую организацию им. В.И.Ленина, с настоящим табелем, свидетельствовавшем об окончании трех классов, в которых он никогда не учился. Но это ничего, так как класс состоял из переростков, которым война помешала пойти нормальный процесс обучения. По уровню знаний предметов, предусмотренных программой, мы почти все одинаковы. В классе представлена группа карантинских, как говорили: «из-под немца», хулиганистых нигилистов, и группа эвакуированных, дисциплинированных отличников. Я относился к группе «из-под немцев», но тяготел к несуществующей середине. Карантинная слободка плохо одета (стеганый ватник и немецкие сапоги), полуголодная, книжки в противогазной сумке. Эвакуированные – чистенькие, в новой одежде, с портфелями или командирскими кожаными сумками. Они большей частью были дети военных начальников. Антагонизма не было, но и тенденции к сближению не наблюдалось. Правда, спустя два года все сгладилось. Но расслоение на богатые и бедные незримо осталось, как и оставалось это при развитом социализме. И так будет всегда!

К началу учебного года мама сшила мне настоящую белую матроску, с отстегивающимся воротником (гюйсом). Белые брюки – клёш, без застежки спереди, а с откидным клапаном, как у матросов, под широкий ремень с настоящей бляхой. Бляху я нашел на свалке. Отец приварил отломанные петли. Потом я изрядно протравил её в соляной кислоте и долгое время старался

отполировать. Оптимального варианта даже в приближенном виде не получилось. Штаны, да только так и можно назвать это изделие, кажется мне, были перекроены из кальсон взрослого мужчины. Как я не наглаживал стрелку, она после нескольких шагов сворачивала штанину спиралью вовнутрь.

По всем правилам в разрезе воротника матроски должна быть видна тельняшка, но где её взять, досадно, нарушение формы. Красный пионерский галстук на воротник не повяжешь – моряку не положено. Этого мало: вместо ботинок – парусиновые туфли, начищенные зубным порошком. Но самое главное – нет бескозырки с длинными черными ленточками до пояса. Где-то находят белый чехол на командирскую фуражку. К нему мама подшивает картонную полосу с ленточкой от детской шапочки. На ленте – надпись «Моряк», чтобы никто не ошибся, кто же это перед ними. Белый чехол сминается, как у балтийских моряков из кинофильмов. Такое нам не подходит. Мама делает окружность из узкой стальной проволоки и вставляет внутрь чехла. Бескозырка изгибается ладьёй. Но уже пора в школу. Гордым моряком я выхожу за ворота дома. Не касаясь пыльной дороги, белый ангел начинает свой полет в направлении школы. На полпути стальная проволока не выдерживает приданного ей напряжения, резко превращается в восьмерку и отстреливает головной убор в дальние кусты пыльного бурьяна. Бескозырка сжимается в комок и к дальнейшему употреблению не годна. «Моряк вразвалочку сошел на берег». В школу прибывает полматроса. Затем самопроизвольно начинают расползаться по швам штаны. На следующий день от матроса остается только форменка.

Школа переживает смутное время восстановления. Вначале преобладает школьная вольница. Мы часто пропускаем занятия, это называется «говеть». Собираемся группками в полуразрушенных домах, жжем костры, взрываем патроны. Часто из разных концов города приходят известия о покалеченных или погибших мальчишках. Но это нам не урок. Некоторые из ребят приторговывают на базаре, чаще это папиросы «врассыпную», медикаменты, консервы из Американской помощи. Они курят и заставляют нас. Иногда появляется водка, и участники выпивки, сильно переигрывая, изображают из себя пьяных до невменяемости. Среди них есть и девчонки. Это все пока игры. Спустя несколько лет примерно половина моих приятелей пошла по тюрьмам.

Но вот появляются парты. Крепнет дисциплина. Каждое утро директор школы, строгая и неулыбчивая женщина клеймит позором разгильдяев, выгоняет из школы, приказывает привести

родителей и заканчивает словами, которые помню и сейчас: «Каждый виновный понесёт заслуженное наказание!».

Очень грустный факт: учителей, работавших в школе при немцах, отлучают от школ. Что же им оставалось делать тогда? Умирать голодной смертью? Они же больше ничего не умели делать, кроме, как учить детей. А теперь только один путь – идти в разнорабочие, разбирать развалки.

Однажды, забирая с пастбища коз на ул. Рябова, я увидел поднимающуюся в гору мою первую учительницу Юзефу Викентьевну. Шла она, сгорбившись, усталой походкой, в рваном старом пальто, тяжелом бабьем платке и грязных стоптанных ватных бурках. Теперь мне стыдно вспомнить, но я сделал вид, что не вижу или не узнаю её и поспешил скрыться. Другую мою учительницу, Нину Владимировну, лишили работы в школе, хотя она нигде при немцах не работала. Правда, через год или два восстановили в правах, и я ещё учился у неё в седьмом классе.

Однажды меня несправедливо выгнали из школы. Директор был новый, фронтовик, контуженный. Ходил он в военной форме, без знаков отличия. Сдается мне, он пил. Привезли в школу булочки для раздачи всем учащимся. Кажется, до 1947 года нас подкармливали булочками и повидлом. Раздача булочек всегда сопровождалась всеобщим веселым возбуждением. И вот на фоне такого возбуждения старшеклассники, чтобы сорвать начало урока, затащили меня в свой класс и зажали между двух верзил на задней парте. Гвалт стоял неимоверный. Директор, проходя мимо, заглянул в класс и увидел меня, человечка нестандартного размера, третьим на парте. Спьяну (а как же иначе) посчитал меня зачинщиком бедлама. Резко выкинув вперед руку с указательным перстом в мою сторону (как Вий на философа Хому Брута: «Вот он!»), скомандовал: «Пошел вон! Чтоб я тебя больше в школе не видел!».

Уныло поплелся я домой, не зная как сообщить маме о том, что больше я не советский школьник, и пора мне в ФЗУ или к отцу в ученики, чтобы «всю оставшуюся жизнь, как отец, обтирать пузом станки», как иногда пугала меня мама за нерадение и бестолковщину. Воспитание мое было таково, что взрослые всегда и во всем правы, поэтому нес я на себе тяжелый груз вины и чувство неотвратимого сурового и заслуженного наказания. Кроме того, при выходе из проклятого класса, я задел лбом об острый угол ящика из-под булочек, образовалась приличная шишка. Вот и вещественное доказательство хулиганского поведения. Пришла беда – отворяй ворота.

Мама всплеснула руками: «Мой сын – хулиган! Да быть этого не может, потому что не может быть никогда». Она надела медаль

«За оборону Севастополя» и пошла объясняться. Потом я слышал, как она рассказывала отцу, что директор, не вставая из-за кабинетного стола (был конец рабочего дня, и он «изрядно устал»), сообщил, что школа состоит из одних хулиганов («И мальчики кровавые в глазах»), и по законам логики ваш сын один из них. Пусть возвращается в школу, но милость директорского прощения вершится в последний раз. В те времена в Стране Советов был закон о всеобщем обязательном четырехлетнем образовании. Так что, господин-товарищ хороший, директор был обязан доучить всех без исключения до возможности поступления в ФЗУ, а иначе – «Парт билет на стол!».

Но на этом беды мои еще не кончились. Во время разговора с мамой директор справился, в каком я классе, и как моя фамилия, после чего снял с полки классный журнал и на всякий случай, для соблюдения формальностей, заглянул в него. Как же был он удивлен, когда в разделе русский язык, против моей фамилии обнаружил стройный ряд двоек. «Так он у вас ещё и двоечник!», – радостно вскричал директор. Радость его была вполне понятна, так как появилось реальное основание для моего выдворения из школы. Он вызвал к себе в кабинет учительницу русского языка, которая сокрушенно развела руками и сообщила, что, несмотря на её старания (я не помню, чтобы она со мной старалась), я катастрофически отстаю от всего класса, и нужны дополнительные занятия с репетитором.

Молодая и очень привлекательная учительница, имя и отчество которой помнится мне до сих пор, уговорилась с мамой позаниматься со мной. Эти частные уроки будут стоить 1.000 рублей. Именно такая сумма была у меня, так как я собирал деньги на аккордеон. Накопление образовалось за счет праздничных подарков от членов семьи. Щедро и часто дарила мне деньги моя тетя Татьяна после удачных торгов на рынке.

Моя мечта, черно-белый аккордеон «Хохнер» стоял на витрине магазина культтоваров, на набережной Корнилова. Подолгу простаивал я у витрины, вожделенно любуясь шикарным инструментом. Но вот, о горе мне, мечта лопнула. Мама сказала: «Вот тебе в наказание. Мы оплатим твои уроки из собранных тобой денег».

Тусклыми серенькими вечерами плёлся я в школу, где в микроскопической комнатке жили две учительницы. В комнате пахло обедом, косметикой. В маленькое оконце синел вечер. В это оконце каждый вечер по несколько раз стучал наш туповатый военрук, вызывая дам на краткие беседы. Мне ни разу не удалось вникнуть в то, что объясняла учительница. Я видел движущиеся губы, слышал звук речи и деликатно изображал внимание и даже

понимание информации. На вопрос, всё ли мне понятно, следовал категорически утвердительный ответ. Так до зимы управились мы с русским. Отпустила меня учительница с понимающей печалью в глазах. Что это такое было со мной, может быть, это была болезнь, психофизическая ущербность? Со временем родное русское слово само незаметно проникло в меня. Учительница, иногда встречая в городе мою маму, спрашивала: «Ну, как Жорик?». Мама отвечала, что он поступил в мединститут. «Да что вы говорите!», – сокрушалась учительница. Спустя годы, опять тот же вопрос при встрече. Мама сообщала, что он уже работает врачом. «Да, что вы говорите! Кто бы мог подумать!?».

Весьма выразительно признаки бестолковости проявились на первых уроках английского языка. Хорошо запомнив буквы английского алфавита и их написание, я наивно решил, что уже знаю язык. А посему слова первого диктанта были записаны латинскими буквами так, как их звучание воспринимало ухо. Так девочка (girl) превратилась в «gel», так как по-русски слышится «гёл», мальчик (boy) – в «boi», и так далее. Интересно, что сидящий рядом приятель был очарован моими познаниями и переписал все с моего листа себе в тетрадь. Учительница английского была поражена такими самобытными представлениями о правилах написания вверенного ей языка. Она даже как бы обиделась и через неделю уволилась. Новая учительница, мамина школьная подруга, ставила мне положительные оценки только лишь за мое терпеливое пребывание на уроке.

9 мая 1945 года шли обычные занятия, мы заканчивали четвертый класс и готовились к экзаменам. Да, да, тогда начиная с четвертого класса и по окончании каждого последующего, вплоть до десятого, сдавались экзамены. В середине дня в класс ворвалась дочь классной руководительницы и закричала: «Мама, война кончилась!». Что было потом, какое всеобщее ликование, описано тысячи раз.

Отзвучал праздник, отгремел салют. Вернулись предэкзаменационные будни. Мы собирались вечерами в школе и под диктовку учителей переписывали экзаменационные билеты, так как книжечка с билетами была всего одна. Выпускными классами считались четвертый, седьмой и десятый. По окончании этих классов выдавался аттестат. Экзаменов было много, почти по каждому предмету. Точно помню, что после седьмого класса было 11 экзаменов. А ведь каждый экзамен – это волнение, страх переэкзаменовки осенью, испорченные летние каникулы. Сколько адреналина было выделено понапрасну. Отчего потом у молодых людей сердечнососудистые заболевания, как у взрослых? Кто

измерял, как подскакивает кровяное давление у школяра в те минуты, когда учитель-садист произносит: «К доске пойдет….» и ждет долго-долго в замершем классе.

Мне везло. Семь классов прошли без переэкзаменовок. В седьмом классе мне исполнилось 14 лет, и учительница истории (в те времена все учителя истории назначались секретарями парторганизации школы) вызвала к себе и побеседовала о моей готовности вступить в ряды Ленинского Комсомола, о центральных газетах, которые я читаю (я никогда их не читал), о том, чем занимаются родители. Вступить в Комсомол я хотел, так как мне нравилось носить комсомольский значок.

И был вечер. И было комсомольское собрание школы. Долго не начинали, так как не было электричества. Комсомольцы пели, играл на рояле хорошенький мальчик Вадик Богословский, пел мой приятель, потом известный писатель, Боря Фаин исполнил только появившуюся песню «Матросские ночи». Девочек не было, обучение стало раздельным. Ребята танцевали вальс друг с другом. Не было непристойных слов, курильщиков, разговоров о выпивке. Все же хорошее дело был Комсомол! На протяжении длительного времени пребывания в Комсомоле у меня не раз появлялась возможность сделать карьеру комсомольского функционера. Но я был холоден к работе и не понимал открывавшихся возможностей. Судьба сулила мне иное.

9. Кинотеатр «луч»

В подвале разрушенного дома на улице Ленина 14 мая 1944 г. начал работать первый городской кинотеатр «Луч». Теперь на этом месте дом с аптекой. После освобождения города уцелевшая старая аптека находилась в угловом здании напротив. На мраморном пороге этой аптеки по латыни было написано «SALVE», что значило «Будь здоров», «Здравствуй». Тяжелая резного дерева дверь, пол из старинного кафеля, массивные деревянные скамьи со спинками у стен и такая же перегородка с полукруглым окошком в стекле. За перегородкой творилось таинство приготовления лекарств. Неповторимый прекрасный запах аптеки, какого больше никогда не будет, нежно окружал посетителя и начинал лечение страждущего.

Перед началом сеанса в кинотеатре мы, мальчишки, заходили в аптеку, чтобы купить пакетик черники в сахаре, вместо конфет. Стоило это копейки. Губы от этого продукта становились темно-синими. Так же дешево можно было приобрести пакетик средства от запаха изо рта «Сен-сен». Пакетик содержал маленькие коричневые столбики, сладкие на вкус с сильным мятным запахом.

Кинотеатр «Луч». Спуск по ступеням в фойе размером примерно в 6 кв. метров. Квадратная амбразура в толстой стене – окошко кассы. Рядом узкая дверь входа в «залу». Узкий длинный зал под низким сводчатым потолком. Скамьи без спинок на цементном полу, на одном уровне. Из задних рядов ничего не видно. После показа каждой части фильма перерыв на заправку киноленты. Во время этих нескольких минут стоит несусветский ор, без причины, как дополнительное удовольствие. Все едят семечки, плюют на пол. К последнему сеансу пол устлан толстым слоем шелухи.

Первый фильм, который мне удалось увидеть – «Неуловимый Ян», о чешском разведчике. Потом стали показывать иностранные фильмы, взятые по репарации, типа «Тарзан» или «Индийская гробница». Публика валила валом. Билет достать невозможно. У кассы творит беспредел местная шайка. Все лезут без очереди. Маленькому человечку не пробиться. Приходится пропускать несколько сеансов, прежде чем все нажрутся, нахватают билетов перекупщики, устанут сами от себя юные бандиты, очередь на короткое время примет условия гражданского порядка.

Желание попасть на: «из всех искусств для нас» неутолимо. Направляясь в кино, я уже на подходе начинал нервничать и переживать. Будет ли работать кинотеатр, если будет, то новый

фильм или надоевший старый? Ведь рекламы не было никакой, кроме безобразного плаката на полуразвалившейся стене означенного дома. Но самое главное волнение тревожило меня – будут ли билеты, и смогу ли пробиться к кассе. Конечно, я смотрел кино перед войной, так что, казалось бы, нечего страдать. Но то было другое детское добропорядочное кино. А тут на экране творилось такое… Вестерн (мы и слова-то такого не знали) – «Путешествие будет опасным». Какие мужчины, как легко и элегантно они долбасят и убивают друг друга, какое изысканное отношение к проституткам, какое наплевательское отношение к сомнительно приобретенному богатству, какое «сдачи не надо», ну прямо как у грузин, понимаешь.

Не долог был показ такого кино. На десятилетия наша Партия дала отдохнуть народу от не свойственных советскому человеку переживаний. И вдруг где-то в восьмидесятых – «Великолепная семерка». Я ещё молод, просмотр фильма как дань детству. Но нечего лукавить, интересно. А вот спустя ещё годы: «Мой, Бог! Что же за белиберда, да кому такое нужно, да буффонада же!».

Несколько лет проработал кинотеатр «Луч». Ну вот, построен новый прекрасный кинотеатр «Победа», на два зала. «Луч» угас и позабыт, сейчас даже никто не знает, что было такое ужасно-прекрасное заведение, радость и печаль моего детства.

10. Легендарные были

Несколько историй, о которых я хочу рассказать в этой главе, относятся к более позднему времени, чем период войны, Они происходили между 1945-м и 1947 годами, но органично связаны с тем, о чем я поведал. Все, о чем я пишу ниже, было на самом деле. Большинству событий я был свидетель или созерцатель. О других же знаю по проверенным слухам. Со временем слухи обрастали домыслами, догадками, украшались пересказчиками, оценивались прошедшим временем, приобретая облик легенд, притчей. Но в своей основе всё имеет упрямые факты. Посему и решено мной дать главе такое название.

1. Наверное, это была зима 1945 года. Ещё шла война. По городу стали расползаться слухи о грабежах квартир и прохожих в поздние ночные часы. Потом появились достоверные рассказы о подобных происшествиях. Менее правдиво, но романтично выглядел рассказ о том, как рабочего, идущего ночью после смены, остановил человек с наганом. Он осмотрел прохожего, понял, что перед ним работяга, и взять с него нечего. Тогда бандит вынул у рабочего изо рта цигарку с махоркой и вставил ему в рот дорогую сигару. И они разошлись каждый в свою сторону. Наивная детская сказка, но мы-то тогда верили. «Сказка ложь, да в ней намёк».

Потом вести стали приходить серьезней. Трупы убитых людей в развалках, нападения на офицеров. Стали поговаривать, что в городе шалит банда «Черная кошка». Конечно, абсолютная неправда, что в сгоревшем комбинате на Большой Морской нашли труп мужчины, в открытых глазах которого запечатлелся облик убийцы. По этим данным убийца был пойман.

А вот история, больше похожая на правду. В город было введено специальное подразделение НКВД, состоящее только из казахов, а может быть, других людей восточных республик с указанием уничтожать бандитов на месте, без предупреждения. Так или иначе, но в городе восстановились тишина и порядок.

2. В августе 1947 года в Севастополь пожаловал с дружеским визитом крейсер «Ливерпуль» в сопровождении двух эсминцев. Корабли были окрашены в светло-серый, почти белый цвет. На улицах города появились английские матросы. Меня удивили маленькие круглые шапочки с бантиком, вместо привычных глазу бескозырок.

Были назначены спортивные состязания между сборными командами двух флотов. Прежде всего футбол, на единственном стадионе рядом с площадью Восставших. Проникнуть на стадион

через ворота не было возможности. Милиционеры впустили ограниченную размерами стадиона порцию людей и закрыли наглухо ворота. Народ лез на деревья вокруг стадиона, на полуразвалившиеся стены бывшего здания ФЗУ на ул. Костомаровской. На моих глазах часть стены под тяжестью людей развалилась, и болельщики попадали вниз. Обошлось без жертв. Я обошел стадион по кругу и со стороны восточной стены обнаружил тихое безлюдное место. Страшась быть пойманным милицией, я с большим физическим напряжением одолел стену и спрыгнул в ров под ней. Переждав некоторое время, выбрался наверх и втиснулся в людскую толпу. Потом на четвереньках, между ног зрителей выполз к краю беговой дорожки, как раз против центра поля. Я видел всю игру.

По «дружбе» в Севастополь на состязания были присланы лучшие спортсмены страны. Футбольная команда ЦДКА, сборная ВМУЗов по водному поло, чемпионы страны по плаванию Мешков и Ушаков и боксер тяжеловес Королев.

Итак, на поле команда ЦДКА, но об этом даже говорить запрещено. Ребята в ярко-красных шелковых рубахах и белых трусах. Англичане все в белом. У англичан выделяется футболист с черной бородой – лорд Лаутон, национальная гордость. Английские моряки кричат: «Лаутон, Лаутон!», но что он один может сделать против наших кентавров. Когда близко от меня пробегает наш футболист, я чувствую тугое сотрясение земли, из-под бутс, как из-под копыт, летит вырванная с корнем трава. По всему полю мечутся красные рубахи, развивающиеся на ветру, как флаги победы. Где-то, среди них, легендарный Всеволод Бобров. Один за другим в ворота англичан влетают мячи. Теперь я точно не помню счет игры, то ли 10:0, то ли 11:1.

На другой день, на водной станции – водное поло. Зрителей немного, есть пустые места. На матче присутствует английский адмирал со свитой. С нашей стороны играют курсанты – профессионалы. Счет разгромный. За судейским столом капитан второго ранга комментирует по-английски, после очередного гола сообщая счет, добавляет – в нашу пользу. Адмирал не выдерживает и в середине игры покидает трибуну.

От дальнейших соревнований англичане отказываются. Чемпион СССР в тяжелом весе Королев вынужден демонстрировать свою мощь на площадке летнего кинотеатра на Приморском Бульваре. Что-то в виде показательной тренировки, бой с тенью.

3. Рассказывали, что после Ялтинской конференции Севастополь посетил Рузвельт. Увидев развалины города, он заявил, что отстроить город можно будет через 50 лет. До 1947

года восстановление города шло медленно. В 1948 году город посетили тов. Сталин и тов. Косыгин. На партактиве тов. И.В. Сталин дал строгое указание восстановить город за 3–4 года. Из окна горкома партии он увидел минарет и сказал, что город Севастополь – это русский город. Минарет был ликвидирован на другой день. Спустя несколько дней на растяжках появились плакаты: «Восстановим Севастополь за 3–4 года!». Действительно, восстановление города пошло в небывало быстром темпе.

11. Фотоаппарат

Старший брат моего отца Задорожников Владимир Михайлович, полковник НКВД, директор Ленинградского секретного завода, строившего катера для погранвойск, приехал в Севастополь весной 1944 года, по своим секретным тайным делам на Черноморском флоте. Но прежде чем решить заглянуть ли повидаться к младшему брату, он ещё в Питере, а потом в НКВД в Севастополе навёл, по своим каналам, справку о том как, же братан вел себя при немцах. Да, такие были времена. Удостоверившись в том, что брат чист перед Родиной, с немцами не сотрудничал, он явился в наш недостроенный и неустроенный дом. Большой ответственный человек, крупный начальник, привыкший к обустроенной комфортной жизни, к достатку, спустился на грешную землю.

Водитель «Эмки» открыл дверцу автомобиля и взял под козырёк. Полный дородный полковник изошел из кабины. Родственники обнялись, расцеловались. Адъютант внёс в дом множественные пакеты и братья приступили к застолью. Полковник торопился. Меня допустили кратко поздороваться. Дядя спросил почему я не расту и почему такой худой (он видел меня перед войной), потом стандартно – как я учусь. Я честно, но стыдливо ответил, что я троечник, но чтоб сгладить неприглядность статуса, добавил, что вчера получил одну четвёрку. Подвыпивший дядя пришел в восторг и вручил подарок. Это была большая кожаная коробка, а в ней лежал фотоаппарат, со всеми причиндалами.

Безгласный от восторга, я на вытянутых руках пронёс драгоценную коробку в свой скромный школьный уголок и с вожделением дикаря начал курочить содержимое ящика. Знания предмета ограничивались только понятием, что есть такое слово – «фотоаппарат» и, что с его помощью делают фотографии. На коробке было написано, что аппарат называется «Фотокор». Вот сейчас я вытяну за блестящую ручку черную узкую коробочку, вот изящная защёлка, вот щелчок и аппарат раскрылся и увеличился в размерах в два раза и стал довольно громоздким. Из него выдвинулась гармошка, как голова крокодила, а вместо пасти заблестело стеклянное окошко. Вокруг окошка обнаружилось множество блестящих штучек, рычажков и кнопочек.

Я направил окно аппарата на свет лампы и был поражен, на матовом стекле, на затылке крокодила появилось изображение лампы, только вверх ногами. Что бы понять, что делать дальше я пошел эмпирическим путём, тем путём, которым человечество

познавало мир, и стал касаться пальцем кнопочек и рычажков. Напряжение внутри меня достигло наивысшей степени. Ведь опасно! Каждый неверный шаг грозит безвозвратной потерей такой драгоценной вещи. Но любопытство. Воспоём ему славу! Еслиб не любопытство, то «человеки» до сих пор лазали бы по деревьям и не знали бы ни о каких аппаратах и это было б хорошо. Сколько восторженных минут принесло мне в жизни утоленное любопытство! А сколько разочарований, а мерзких открытий, забыл что ли?

Шаловливый пальчик коснулся самого манящего рычажка. Внутри аппарата зашипело и щёлкнуло, изображение на матовом стекле исчезло на мгновение и появилось вновь в прежней красе. Какая радость! Я умею фотографировать! Мама, Папа, Бабушка! Сейчас я вас всех…! Но ожидаемая фотография не выпала к ногам великого экспериментатора. Замолкли фанфары победы, опустились знамёна лёгкой и быстрой славы.

«Тебе надо разобраться» – коротко сказал отец. Не зная как разобраться, я бесцельно бродил по окрестностям двора и тупо наводил аппарат, всё равно на что, и щёлкал и щёлкал затвором. Что бы хоть немного удовлетворить тщеславие, я показал аппарат уличным друзьям. Их поразила та степень величия которая нашла на меня с обретением фотоаппарата. Вед ни у кого в городе не было такой штуки. По тем временам вещь действительно дорогая, да и купить-то негде.

Но вот появился папин сотрудник, солдат-сверхсрочник, который что-то знал «по фото». Он показал мне длительный процесс приготовления к съемке. Нужно в тёмной комнате, на ощупь раскрыть металлическую плоскую кассету, раскрыть коробку с негативными тонкими стёклами (9Х12 см), вложить стекло в кассету, закрыть кассету.

Затем установить фотоаппарат перед снимаемым объектом, пользуясь видоискателем поймать этот объект, открыть затвор аппарата, вставить с тыльной стороны аппарата матовое стекло, и накрывшись чёрной простыней, навести резкость изображения на этом стекле. Вынуть матовое стекло, закрыть затвор аппарата, установить выдержку и диафрагму, вставить кассету, выдвинуть защитную крышку кассеты и только теперь сказать: «Спокойно, снимаю!». Нажать на спусковой крючок, не толкнув аппарат. Закрыть задвижку кассеты. Все! Пока всё.

Теперь негатив нужно проявить. Не буду уж далее утруждать читателя. До получения отпечатка фотографии ещё очень долгий путь. Да ещё вечный дефицит всех фотоматериалов. Но я был упорен. Конечно, мне хотелось пройтись по праздничным улицам с «Лейкой» через плечо и делать много быстрых снимков и,

главное, чтоб это все видели и девочки то же.

Однажды, чтоб показать себя, поплёлся я с фотокором на демонстрацию. Касеты рассовал по карманам, их то и всего было пять штук, т. е. я мог сделать пять снимков. Я установился на тротуаре, где-то на Нахимова, и стал ждать, не столько выразительного кадра, сколько момента наибольшего внимания к себе. Густой людской поток безразлично обтекал и толкал меня. Было жарко, и я устал. Щёлкнув пару кадров, я поплёлся домой. Возле дома сидели закадычные уличные друзья, весёлые и подвыпившие. Я сделал снимок и он остался в веках. Эта фотокарточка, выразительная, динамичная, передающая состояние той улицы, той далёкой жизни, была в альбоме каждого из друзей. И ещё, в награду, в тот момента когда я фотографировал, прошла «девочка, что нравилась мне». О, Нарцисс! О, «жалкая ничтожная личность»! О. акцентуированный экстраверт (если так можно сказать).

Видя мои успехи, отец из премиальных купил мне фотоаппарат «Зоркий». Кажется, это был 1947 год. По тем временам то же большая редкость. Фотоаппарат прошел со мной более 45 лет. Впервые я взял его в первый комсомольский поход «По путям партизанской славы». Было много удачных снимков. Один из снимков, на «Ай-Петри», при ровном хорошем свете, не постановочный, очень живой, группы из трёх юношей, с рюкзаками и букетом полевых цветов. Негатив попросил один приятель, а попал он в руки руководителя фотокружка при Доме Пионеров. Взрослый дядя совершил бесстыдный плагиат. Увеличенный до плакатных размеров фотоснимок был вывешен на входе в Дом Пионеров и получил премию.

12. Как я защищал дом

Зима 1945 года была холодной и бесснежной. Даже небольшое движение воздуха с Северной стороны старалось холодными языками проникнуть во все щели жилищ и прорехи одежды. Так и разные нехорошие слухи о страшных убийствах, о трупах в развалках заползали в уши обывателей. В безоблачную лунную ночь синие комья мёрзлой земли, давали такие же синие длинные тени, в их причудливых очертаниях запуганное воображение рисовало затаившегося человека или обездвиженное мертвое тело. Молчаливые черные остовы разрушенных домов, суровые и безразличные, не сулили спасения. От неожиданных хлопков и громов останков кровельного железа сердце прыгало в голову тугим ударом крови. «Бежать! Бежать и кричать» – одно спасение.

Так, однажды, я возвращался домой один-одинешенек после увеселительного просмотра какой-то пьески заезжего балаганчика. Путь лежал от Дома офицеров, где вокруг всё чисто и светло, к страшным развалинам, по пустынным узким проходам между ними. Опасность была везде. Яркая лампа луны чётко высвечивала меня, чтоб бандитам было хорошо видно. Кованные немецкие сапоги на мне издавали громкий лошадиный цокот. «Вед услышат же!». Муть страха постепенно накапливалась и, когда до 6-ой Бастионной оставался последний переулок, порыв ветра сорвал кусок железа и «его тёмная сень пало на моё чело», критическая масса взорвалась, и я заорал, и я ринулся очертя голову к спасительным воротам дома. Теплом дерева меня коснулись родные ворота, я оборвал ор, смело оглянулся на «Страх» и смелым бывалым мальчиком вошел в дом.

Всё рассказанное не только обо мне. Страх был веществен, плотен, материален и был он во всех. Ведь пережитые страхи войн были еще с нами, да и конца проклятой не видать. Вон, слух, немецкое «Фау – 2» упало в районе Туровки, теперь опять нас немцы будут бомбить. Вон, на хуторах семью вырезали. Вон, пришла к Минной стенке баржа со спиртом. Несколько ребят выпили, так, кто помер, а кто ослеп, – спирт-то метиловый. Слухи о воровстве и грабежах были постоянно, они-то и поддерживали состояние страха больше всего.

Вот и продолжение рассказа о том, как безотчётный страх и последующее его преодоление могло худо обернуться, для участников события.

Наш дом был достроен наполовину. Крыша прикрывала весь дом, но к жилью были готовы только две комнаты. Ещё две

комнаты были без потолка и пола, а окна на улицу, заколочены досками. Печь топилась, жить можно было, но без комфорта. В этих комнатах жили мои дядя и тётка. Однажды, среди ночи, дядьку Василия разбудил шум. Он включил свет и увидел, что окно на улицу наполовину разобрано и какой-то мужик уже стоит одной ногой в доме. Василий заорал, а ночной гость, не торопясь, извлёк ногу из нашего жилища и спокойно пошел вдоль улицы. Этот рассказ меня потряс, и я оставался в постоянном страхе.

И надо же так случиться, что всем взрослым жителям дома, вдруг очень понадобилось поехать к дальней родне на Северную сторону, на какую-то там свадьбу, а бедного мальчика оставить одного с бабушкой охранять дом. Был ещё младший брат, но он не был ещё капитаном второго ранга и не имел табельного оружия, так, что он «пролетал». Правда, был очень злой пёс по клички «Рекс» – большой, под беспородную овчарку. Он успел показать себя в деле. Когда ему удавалось сорваться с цепи, он рвал всех подряд, не разбирая свой или чужой. В общем дурак приличный. А ещё было, но об этом нельзя было даже думать, а тем более говорить. И было это, О, Боже, какое чудо! Было это ружьё! Бельгийка, двустволка (Зауэр три кольца – слова торжественные и мне непонятные).

Кого из мужчин не притягивает оружие. Эта тайная древнейшая связь. Ну чего это я? Об этом уж столько написано. Личное ощущение такого притяжения есть и во мне. Казалось бы, откуда это, у мирного по натуре человечка, и совсем уж не воина, и не бойца, и не забияки дуэлянта.

Ружьё такое лёгкое, такой изящной формы, так приятно ложилось в руки. Но такое же чувство я испытывал и от рукоятки немецкого тесака, и от разных пистолетов, что попадалось держать, да и от автомата Калашникова. Древний инстинкт? Ощущение силы? Чувство защищенности?

Несколько раз дядя Василий брал меня с собой на охоту и давал стрелять из этого ружья, конечно же, к моему беспредельному восторгу. Правда, потом нужно было ружьё чистить, это было не интересно.

Ружьё в собранном виде всегда висело на ковре над кроватью. Тут же висел патронташ с готовыми к бою патронами. Когда дома никого не было, я снимал ружьё и просто держал и любовался им, а иногда перед зеркалом демонстрировал себе повадки опытного охотника. Клацать курками, было строжайше запрещено.

Итак, наши уехали. Вернуться на другой день. Наступила ночь. Спит маленький братик, дремлет над вязанием бабушка. Я занимаюсь печатанием и проявлением ужасных по всем качествам фотографий. Я только учусь. Самоучка. В семье и ближайшем

окружении никто не смыслит в этих делах. У меня наверняка самый первый в Севастополе, среди мальчишек, фотоаппарат «Фотокор», большой, с раздвижной гармошкой и на громадной треноге. Это подарок старшего брата отца, дяди Володи, полковника НКВД, директора Ленинградского завода пограничных катеров. Он-то мог позволить приобрести такую дорогую вещь.

Свет красного лабораторного фонаря из плафона от катерного топового огня, создаёт таинственную атмосферу и усиливает чувство ночной настороженности.

Где-то у меня на оголённый провод пролился проявитель, слышен тихий треск электроискры и противный запах горелой резиновой оплётки. Дядя Вася – электрик, при уходе, спокойно сказал: «Где-то коротит». И спокойно ушел. Так что меня это почему-то не волнует. Сказал дядька что коротит, значит так надо. В доме тишина и покой.

Вдруг сильный удар в одно, из заколоченных окон, отлетела и упала на пол одна из досок. Бабушка встрепенулась и тут же закричала: «Жорка, воры!». Следует тупой удар в ворота, и кто-то снаружи с неимоверной силой начинает их раскачивать. Мощный засов ходит туда-сюда и кажется, движется. «А вдруг выскочит из петель» – проносится нелепая мысль. На наши окрики супостат не отвечает, только что-то мычит. Мы в страхе, мы в волнении, мы, наконец, в панике. Мы одиноки, особняки отстоят далеко друг от друга, никто не услышит, а услышит, разве рискнёт бежать на помощь. Я никогда не матерился дома, но тут из меня понесло, всё что знал. Краем душонки чувствую бабкино одобрение. Голос ещё в периоде мутации, даёт петушка, но угрозы оторвать, прибить, зарубить усиливаются. Но ворота уже и как бы хотят раскрыться. Спускаю с цепи Рекса. Страшный зверь подбегает к воротам поднимает ногу и даёт струю, а потом весело убегает вглубь двора. Я бегу за ружьем, заряжаю оба ствола. Я переполнен отвагой и страхом. Предупредительный выстрел вверх. Возня за воротами продолжается. Выстрел по воротам. Нападающий не реагирует. Перезаряжаю ружье. Маленький отважный дурачок лезет на крышу, чтоб открыть огонь прямой наводкой по человеку! Господи, останови его, вразуми его, отврати беду! Ведь убьёт, «ибо не ведает, что творит»! Очень крут скат крыши и стрелок боится соскользнуть вниз прямо в лапы бандита. Ещё один выстрел вниз, в землю, в направлении ворот. Несчастному, приговоренному к расстрелу, будто и не слышно ничего. Скорей всего так и есть! Ему надоело сражение с чужими воротами и, пьяно ругаясь, он удаляется, судя по звуку на другую сторону улицы. Наступает тишина, приходит дрожь в коленки и короткое

отупение. Потом приходит мысль, что я герой, отстоял родной дом. Бабушка, глупая женщина и паникерша, одобряет действия юного идиота. «Молодец» – говорит. Ложусь, но долго не могу уснуть. Утреннее пробуждение окружено славой и почитанием всей родни. Они горды мной, но сдержаны. Но велено молчать и: «никогда никому, ни полслова». «Ночь, стрельба, милиция, разборки и неприятности». «Арестуют, конфискуют, оштрафуют». Но всё обошлось. Соседи говорили, что что-то слышали. Что на помощь звали. Что хотели, но не успели, да и страшно было, ведь ночь на дворе.

Спустя годы, я не раз возвращался к этому происшествию. В молодые годы перевешивала отважная составляющая в действиях мальчика, к зрелости пришло: «Господь отвёл беду. Всё могло обернуться большим несчастием».

Послесловие

Белый город, синие заливы,
На высоких мачтах – огоньки…
Нет, я буду все-таки счастливым,
Многим неудачам вопреки.

Ольга Берггольц

В том, что я написал, нет ничего вымышленного. Все это было, все это я видел, а то, что не видел, слышал из первых уст. А что же было дальше, спросит любопытный читатель? Что этот мальчик, который что-то там видел? Мы все в детстве что-то видели и иногда такое… Даже очень неприличное, что теперь прилично? Что с ним стало, «а был ли мальчик»?

Мальчик рос, рос и состарился. И это можно считать его главным достижением в жизни. Причем, к происходившему с ним он не прилагал почти никаких усилий. Все шло самотёком, по воле проведения, па судьбе. А то, что доставалось ему с трудом, что было предметом желаний, стоило больших усилий, когда сбывалось, оказывалось не нужным.

Например, с детства я мечтал о велосипеде. Трехколесный велосипед не в счет. Изделие, выполненное кустарным Совпромом, проскакало подо мной не более 20 метров и пало «на передние». Что интересно, такого не бывает, у велосипеда одновременно расклеились на стыках резиновые трубки, изображавшие шины на колесах, а хилые жестяные планки, вместо спиц у переднего ведущего колеса, вылезли из пазов, и обод мгновенно стал овальным. Росинант скончался. Обретение желаемого и мгновенную его утрату я перенес стойко, как положено легендарному красному кавалеристу. Велосипед, действительно, был обмазан красной краской. Если послюнявить палец и потереть по окрашенной части лежащих останков, палец становился красным, и им можно было писать слова на побеленном заборе. Что и проделал подъехавший удачливый велосипедист. Кратким словом он обозначил произошедшее событие.

Вскоре после войны папа нашел где-то старую велосипедную раму, с рулем, седлом и одной педалью. Мама сказала: «Будешь хорошо учиться – папа сделает тебе велосипед». Я продолжал учиться плохо. Не потому, что не верил в осуществление папиного замысла. Просто я уже не мог изменить состояние, в

котором плотно обосновался. Но папа все же создал из ничего велосипед для своего недоросля. На латаных камерах и старинных покрышках я, испытывая восторг, выехал на улицу. И опять процесс катания был крайне краток. Резина исторгла из себя остатки воздуха, и Боливар осел на жесткие ободья. Понуро я приплелся домой. В те времена магазины не торговали велосипедными камерами. Мальчики жили без камер и даже без велосипедов. Ну так что же! Мы ли не изобретатели? Вместо камер под покрышки вставляются дюймовые водопроводные шланги, тяжелые и заскорузлые. Велосипед трудно разогнать и так же трудно остановить его разудалый разбег. Законы инерции познаются не в школе, а на практике. Велосипед предпочитает ездить только по наклонной вниз. Обратный путь ему не ведом и для него неприемлем. Он живет отдельной жизнью от меня. Я его обслуживающий персонал. Еще долго не будет открыт синдром хронической усталости, а я уже в теме. Мы расстаемся. Велосипед ушел отдыхать.

Спустя много лет я оказываюсь в состоянии купить много велосипедов, но мне теперь не нужен ни один. Мы с взрослым сыном обсудили подобные явления, когда желаемое приходит спустя определенный временной промежуток, но в нем уж нет необходимости. Для себя мы определили это как «синдром велосипеда». Желающим пользоваться предлагаем бесплатно, просто дарим. Однако предупреждаем, чем сильней было желание и чем дольше и тернистей был путь к его исполнению, тем настырнее, наконец проявившись, оно будет стараться укрепиться в вашей жизни, только вам это будет уже безразлично и не нужно.

Но мы отвлеклись. Что же было с мальчиком в антракте, между детством и старостью? Кое-как отслужив обязанность ходить в школу, я захотел стать морским офицером, потому что красивая форма, и девочки будут смотреть. Будучи здоровым и всесторонне спортивно развитым, я оказался «не годным к военной службе в мирное время», но в военное время будьте любезны присутствовать. Болезнь была связана с проблемной кожей и оказала на всю последующую жизнь роковое влияние. Медицина бессильна и по ныне.

Прожив 17 лет, я не заимел крылатой мечты стать определенно кем-то, да и с бескрылой мечтой не было никаких четких ориентиров. Деньги на учебу в Москве или Питере отсутствовали полностью и навсегда. Я был беспечен и инфантилен. Прочел, что в Славянское Летное (именно так было написано) училище объявлен прием без экзаменов, с выдачей формы и материальным обеспечением. Что ж, очень неплохо. Летчик, форма, девочки смотрят, бесплатное питание и главное –

без экзаменов. К счастью, подруга семьи, летчица, летавшая бомбить Берлин, объяснила, что это ПТУ, где учат заносить хвосты кукурузникам и перебирать грязные масляные внутренности моторов. В общем, «от винта!»

Время подачи документов для поступления в вуз приближалось к критическому. Сереньким тусклым вечерком мама и папа, сидя рядышком, робко спросили: «Сынок, может быть в Симферополь, в мединститут? Врач – это хорошо. Опять же, недалеко, и мы смогли бы помогать». Мне представился человек с усталым лицом, в белоснежном халате, со следами крови, беспрестанно продолжающий спасать больных, в очень приличной обстановке чистоты и тепла. Хирург! Да, конечно же, хирург, и только! Мы поехали в Симферополь. В приемной комиссии не было не души. Седовласая интеллигентная женщина сообщила, что прием документов ведется на педиатрический и лечебный факультеты. Мы с мамой переглянулись, педиатрический – понятно – детский врач, что может быть страшней. Лечебный, это тот, который лечит, трубка на шее, постукивания пальцем по голому телу, никакой романтики. Где же учат на хирургов? Тихие и печальные мы покинули здание института.

Путь трамвая к вокзалу на вечерний поезд, домой в Севастополь, проходил мимо института. Я ехал тупо, безразлично, ничего не имея в себе. Перед остановкой «Мединститут» мама предложила пойти уточнить, что означает «Лечебный факультет». Так как я был пуст и в себе ничего не имел, то таким же пустым жестом, пожатием плеч выразил приличествующее положению несогласное согласие.

Та же седая женщина встретила нас понимающей улыбкой. Она-то и открыла нам тайну, что лечебный факультет выпускает врачей всех специальностей. Да, да, и хирургов тоже. Правда, конкурс на этот факультет уже приближается к 7 человекам на место. Но нас уже ничего не могло остановить. Мама не знала моих возможностей. Я же отлично ведал, что не знаю ничего. Мне было просто всё равно. Потом у меня накопились наблюдения, что если мне безразлично, случится желаемое или нет, то оно непременно исполнится. Из этого можно было бы вывести второй закон, подобный «синдрому велосипеда». Его можно было бы назвать, «желая не желать». Вместе они составили бы дуальную пару.

Все экзамены я сдал на отлично, кроме сочинения на вольную тему, за которое получил четверку, хотя с большой опаской переписал его с узкой журнальной колонки, заранее вырезанной и сложенной гармошечкой. Зато устный экзамен по русской

литературе был моим триумфом, я привел в восторг экзаменаторов знанием наизусть стихотворений не только школьной программы, но и многих других. Я поступил в институт без протекции, блата или взятки, одним из первых в списке. Все же севастопольская элитная школа № 3, как я ни упирался, вставила мне чип необходимой информации. Слава и вечная память директору школы Вере Романовне Девочко.

Родственники абитуриентов следующего года приходили к маме консультироваться, кому и сколько вы заплатили «за вашего недоросля».

Институт окончен. В руках у меня диплом, где написано, что я врач-лечебник. «Люди, я любил вас, будьте бдительны!». По законам советского времени меня и немножко беременную жену, врача-педиатра, направляют в самую дырчатую дыру на Донетчене. Прощай, Севастополь! Глупые и доверчивые, мы беспечно поехали отрабатывать наш кабальный трехлетний долг государству и застряли там на тридцать лет. Я работал, после окончания клинической ординатуры зав. лор-отделением, жена стала главным врачом детской горбольницы.

В 1985 году, после болезнью и смертью отца, мама осталась одна. Мне пришлось покинуть насиженное место и переехать в Севастополь, тем более, что длительное время оставалось вакантным место заведующего детским лор-отделением, существовавшим виртуально. Меня не отпускал горком Партии, главный врач, сожалела кафедра лор-болезней Донецкого мединститута. Заведующий кафедрой, мой друг, сказал: «Жорж, тебе нечего бояться, ты профессионал», сам же слинял в Америку. Не сказал он мне, что надо бояться людей, в смысле коллег. Да тут еще перестройка, а за ней революция. Оказался я без друзей, без поддержки, без былого авторитета. Медицинское скопление нашей узкой специальности на расстоянии наблюдало: «Когда же он сломается?». Не дождались. Я ушел сам. Мистическое значение библейской фразы: «Нет пророка в своем Отечестве!» мною освоено на более глубоком уровне. И тем не менее, я успел создать новое детское лор-отделение. Перестройка отведенного коридора была осуществлена по разработанному мною плану. Как мог, я объединил очень пестрый состав медперсонала в коллектив. С большим трудом мне удалось наладить дежурную службу. И главное, мы стали осуществлять полноценную хирургическую помощь детям. Одним из первых на Украине я начал микрохирургию носа и околоносовых пазух и продолжил её в родном городе. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по этой тематике. С 1995 года работаю в российском госпитале.

Ещё одно послесловие

Минуло два года после того, как была поставлена точка в послесловии ко второму изданию книги. С автором не произошло ничего знаменательного в его повседневной жизни и работе. Моя коллега врач-отоларинголог, ординатор отоларингологического отделения госпиталя, Наталья Михайловна Дрозина, после того как прочла мою книжку написала мне добрые милые стихи. Как она рассказывала – «Приберегла чтение в дальнюю дорогу». Эту оговорку-пояснение мне необходимо сделать, что бы содержание стихов не показалось странным и отвлеченным. Кроме того во второй половине стихотворения она перешла на профессиональную тематику. Читатель поймёт о чём идет речь. Я же переполнен благодарностью.

Бежит состав по рельсам узким,
Бежит неведомо куда,
А я при свете лампы тусклой
Читаю строчки-поезда.

Скажите, доктор, ведь недаром
Я спать хочу, но вот не сплю…
Читаю Ваши мемуары
И вижу все как наяву.

Я вижу Вашими глазами
Как мир зелено-голубой
Покрылся кровью и слезами
И в одночасье стал войной.

Из мирной жизни понимаю,
Как много значит дом, семья,
Но вот история другая
Ее сегодня вижу я.

Вот Вы сидите с ноутбуком,
Английский, флешки, интернет,
Под микроскопом, с эндоскопом,
На все вопросы есть ответ.

А молоточек с наковальней —
устройство не для лошадей!
И лабиринт улитки будет

Сложней того, где шел Тесей…

А Вы там были! Мед-пиво пили!
И шли дорогою своей,
Одних лечили, других учили —
Бесценный дар для наших дней!!!

Наталья Дрозина.

Севастополь. 2011 г.

И вот ещё что. Всего не расскажешь, о сегодняшнем бытии. А времена прямо скажем словами И.Бунина – ОКОЯННЫЕ. Продолжая понемногу делать краткие записки, готовя материал к книжке с начальным названием «Заметки из практики врача и не только» я набросал несколько новелл, дух которых, мне кажется, передает знакомое многим людям чувство несправедливой, неверной жизни. Вот так и я живу, так что к послесловию и добавить нечего. Привожу здесь эти две новеллы.

Сны и явь. (Быль)

И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.

Иоль2.28.

И был мне сон. Я за рулем нашего старого доброго трофейного мотоцикла «Цундап». В коляске сидит отец. Его нет на белом свете уже 15 лет, но сейчас он удивительно реален. Прежде, после ухода, он не приходил в мои сны. Гудит мощный двигатель мотоцикла. Мчится навстречу неведомый пейзаж. Вижу одновременно и серое полотно шоссе, и как крутится переднее колесо, но будто смотрю со стороны. Вдруг, как бывает только во сне, вплывает ощущение какой-то опасной преграды. Где-то давно я прочел, что сценарий сна опережает картинку. Запомнилось это потому, что совпадало с личным опытом и в дальнейшем находило подтверждение. Быстро переключив скорость, и максимально выжав газ, я взлетаю вверх и даже как бы облака и небесная синь. Чувствую, как доволен мной отец и слышу его голос: «Жорка, молодец!» – так он и по жизни хвалил меня и увесисто хлопал по плечу. Далее расплывающаяся и исчезающая реальность, белёсый туман и чрезвычайно мягкое касание земли. Всё.

Я рассказал сон моему взрослому сыну, к тому времени накопившему знания особого толка и построившего собственное поле познания и личный понятийный аппарат. Он оценил это как предупреждение о возможной опасности и отцовскую защиту от беды.

В семейных преданиях хранились воспоминания о вещих снах. Видения этих снов исполнялись почти буквально через столь короткое время, что память о них не успевала размыться и исчезнуть. Для толкования таких снов не требовались сонники, да их и не было в Советское время.

Мне иногда снились яркие, запоминающиеся надолго, сны. Но прилепить горбатую фантасмагорию к ровной стенке бытия ну, ни как не удавалось. Удивительные толкователи снов, библейские обаятели, Халдеи, гадатели, покрытые пылью тысячелетий, и они далеко не всегда угождали вразумительным

ответом царям. Кто бы мог истолковать сны подобные снам фараона о семи коровах и семи колосьях (Быт. 41:1-36), кроме мудрого Иосифа? Перевелись мудрецы и пророки в наши времена или боязливо молчат?

Остался бы описанный мной сон в памяти, если б вскоре не произошло, близкое по смыслу реальное событие? Кроме того, обратил ли бы я внимание на любопытное сочетание цифр даты происшествия? Как-то незаметно, случайно, в дни работы над этим рассказом появилось в голове: «Ба! Да, это же вот что!». Тогда шел 1999 год, 16 октября мне исполнилось 66 лет, катастрофа произошла утром 17 октября, с того дня прошло 13 лет. Количество шестёрок и девяток привлекает внимание и настораживает. Господа нумерологии, Вам карты в руки! Не могу себя причислить к знатокам или приспешникам этого вида искусства. Тем не менее, Пифогарийская школа – моё очарование. Любовь к таинству числа и связь его с музыкальной гармонией. Нравственный принцип: "Быть всегда в словах и поступках стремись справедливым". "Пусть – что важнее всего – твоим главным судьей станет совесть" – любо мне это.

Ранним утром, означенной даты, ехал я, не торопясь, на лёгком мотоцикле на свой скромный сад-огород. Великая криминальная революция перевела меня в статус «бывших». Точно так же 70 лет назад моих дедов сделал нищими и «бывшими» октябрьский переворот. Немым укором мне, совку и неудачнику, по сторонам дороги с немыслимой скоростью, появлялись коттеджи невиданной красоты. Мимо проносились иномарки, названий которых я не запоминал и не знаю до сих пор, т. к. никак не мог рассчитывать на обладание этими сказочными созданиями. Вокруг было: «Жизнь удалась!».

Метрах в пятнадцати появился Т-образный перекресток. Я продолжал движение со скоростью 45–50 км/час. Сзади, я видел в зеркале обзора, меня настигала черная блестящая лаком и серебром огромная со страшными черными окнами машина-убийца. Из неё исходил тупой, но сильный звук большого барабана. Без сигнала, без обозначения поворота черное чудовище резко обошло меня и «осуществило маневр правого поворота», нарушая элементарное правило дороги, а так же добра и совести. Заднее колесо убийцы легко коснулось переднего колеса утлого транспортного средства, придатком которого был седой шестидесятишестилетний, теперь не нужный, человек. Он «подрезал» меня, сделал подсечку, запрещенную даже на борцовском ковре. Черные окна с тупым звуком барабана: «Бук, бук, бук!», – величаво и достойно проплыли мимо меня, падающего в никуда, в вечность. Равнодушное содержимое

черного танка, довольное собой, своим успехом и сверхдостатком укатило к …, «дыша духами и помадами» (А.Блок).

Руль резко повернуло вправо и выдернуло у меня из рук. Кто может себе представить, что происходит, когда соприкасаются два не согласованно вращающихся колеса? Механики говорят о двигателе: «Пошел в раздрай». Это хуже взрыва. Металлические части разлетаются далеко и с неимоверной силой.

Я вылетел из седла. Мотоцикл юзом протащило ещё метров на семь. Хлестко, с оттяжкой, верхнюю половину тела влепило в асфальт. Рефлекторно вытянутая левая рука не защитила бедного сердца. Такой удар на ринге убивает бойца. На несколько мгновений сердце остановилось, как бы раздумывая – следует ли продолжать, и так уж долгий и многотрудный бег, потом робко стукнуло, словно спросило: «Тут кто есть?» и, услышав из центра головы: «Ну, вот и конец», бешено застучало, заколотило ножками: «Нет, нет! Жить! Жить!»

Вернув себе глубокий вдох, и только теперь почувствовав боль, я привстал на колени. Слегка кружилась голова и поташнивало. Мир был необыкновенно ясен и прозрачен. Мотоцикл продолжал работать. Мимо проносились одиночные машины: лендроверы, вездеходы, внедорожники – личные консервные банки наступательного значения. На ветровых стёклах они имели красивые надписи. Вместо «Gott mit uns»[1] – как у гостей непрошенных, тевтонов, у этих значилось: «Via est vita»[2]. Содержатели железных коробок на колёсах вряд ли вникали в смысл лозунга, дескать, это просто так, так все делают, что подтверждала болтающаяся здесь же на веревочке бессмысленная обезьянка. За своими темными окнами они стыдливо не видели меня. Их извиняло то, что они страшно торопились, а вдруг повезёт и на дороге ещё окажется не оформленный (как в докладных писали каратели) не нужный человечек, да еще, если повезет, расово неполноценный.

Пересекая дорогу по диагонали, издалека, спешил мне на помощь молоденький идиот. Он волочил ногу, и одна рука была не естественно подтянута к груди. Пуская слюну, он что-то силился мне сказать. Несчастный Даун – благородное доброе существо! Ты один в этом злом мире оставался человеком. Я поднялся на ноги, подтащил к тротуару мотоцикл, показал парню колечко или ноль из пальцев, что обозначало – в порядке, и сделал ему отмашку на обратное движение. Пощупал ключицу, получил характерное ощущение перекатывания гравия в мешке, потом ребра – да переломы есть. Пересиливая боль, завел мотоцикл и пустился в обратный путь, управляя только одной правой рукой. На ближайшей площади постовой мент остановил

меня артистичным и беспечным помахиванием волшебной палочки. Наверняка проезжие доброхоты, руководствуясь высоким гражданским долгом, успели сообщить ему о ДТП, скромно умолчав о причинах, по которым они не задержались, чтоб оказать первую помощь пострадавшему. С ласковой улыбкой из-под фуражки таких размеров, как самый большой нимб, младший лейтенант приблизился ко мне так близко, чтоб ощутить свежесть моего дыхания. Вкрадчиво и как будто ему на самом деле важно знать, он спросил об обстановке на дорогах. Держась прямо в седле и мужественно не показывая как мне тяжело, я спокойно заверил стражника, что всё нормально. Разочарованно, ещё раз понюхав воздух, не отдав мне, как положено под козырек, он тоскливо поплёлся на своё место. Представление не состоялось. «Занавесь опустился навивая прохладу»

То как мне удалось справиться с бедой, пригнать мотоцикл на стоянку, потом дома мобилизовать перелом по всем правилам с помощью повязки-косынки и добраться самостоятельно до госпиталя осталось в памяти как маленькая победа. Я горд собою поныне.

Горькие воспоминания о несовершенной человеческой породе мгновенно оставили меня, как только я миновал турникет проходной госпиталя. В центре фойе как бы скучая без работы и ожидая только меня, стоял дежурный хирург. Это был великолепный Борис Леонидович Беляев. Пять минут и на рентгеновском снимке запечатлен многооскольчатый перелом ключицы и трещины двух ребер. Ещё пять минут и наложен панцирь из гипса. Звонок главному врачу: доклад о происшествии и добро на госпитализацию. Палата одиночка. Приятный холодок льняной ткани простыней. Инъекция. Благодатный глубокий сон. Отсюда ещё не ушел родной Советский Союз.

Не могу больше припомнить, чтобы ко мне приходили вещие сны-предвестники. То есть, запоминающиеся надолго сны бывали, но отыскать в них практический смысл – это уж: «Вам нет!». Опять же не помню, где и у кого я прочел о значении как будто ничего не значащих деталей, на которые следует обращать внимание, пытаясь уловить хоть какой-то смысл видения. Автор, возможно для яркости изложения, приводит не совсем приличный пример. «Если Вам снится совокупление с кузеной, то не рассчитывайте на то, что завтра это произойдет. Обратите внимание на вазочку с цветами на прикроватной тумбочке – вот здесь-то и может оказаться самый главный знак, которым вам силятся подать». Подиж ты, разберись, кабалистика какая-то.

И вот то, что не снилось и не могло присниться в самом

неприятном сне. Это явь нашего времени. Травмпункт горбольницы. Мы, семья из трёх врачей с одной переломанной нагой на всех, через толпу полупьяных мужиков и прокуренных неопрятных баб, обратилась к дежурному доктору. Робко, осознавая свою вину и за перелом, и за то, что отнимаем время у такой значительной персоны, мы осмелились сказать: «Доктор, мы врачи». Не взглянув на нас медицинское светило изрекло: «Всем в очередь!» Из толпы маргиналов заверещали: «Тут все врачи». Продолжая упорствовать, я сказал: «У меня удостоверение участника войны». Со стороны затёрханых скамей, молодые синюшные лица, с явно свежими ранениями, заголосили: «Мы тут все воевали!» Сложившаяся обстановка свидетельствовали, что мы вообще-то появились здесь не обосновано, что претензии наши не реальны и мелочны. Нам в назидание оставалось только крылатое выражение: Medice, cura te ipsum![3] Пристыженные и покорные мы скрылись в тёмном углу приёмной. Спустя час последовало указание: внести добровольное, но обязательное денежное пожертвование и заплатить стоимость рентгенплёнки. Гипса нет! Поэтому получите направление на завтра к травматологу. Общий привет!

Более полусотни лет я проработал врачом. Считал и считаю своим первейшим долгом уделить внимание коллеге, в каких бы то ни было условиях, и как бы ни был занят. Врач не должен стоять в очереди под дверью на амбулаторный приём. Это традиция от наших замечательных земских, уездных, советских и пр. докторов. Для сведения больных, прежде на дверях кабинета висело уведомление, что медики принимаются вне очереди. Почему теперь утрачен этот обычай. Демократия? Но ведь обычай куда как благородней и справедливей! При нашей нищенской зарплате, отсутствии социальной защиты, лишенные уважения, неужели же мы не вправе рассчитывать хоть на такую малость.

И опять был мне сон, только уж теперь наяву. Совсем недавно мне потребовалась консультация узкого специалиста (какое ненавистное мне определение). Мой шеф, профессор Шапаренко Б.А., царство ему небесное, любил по этому поводу повторять: «Скоро мы дойдём до того, что будут отдельно узкие специалисты по правому и левому уху»

Заручившись предварительно парой звонков от известных в городе врачей к указанному медицинскому служащему, я простоял в ожидании более часа. Выразив неудовольствие по поводу предварительной просьбы коллег, врач заявил, что для проведения осмотра ему необходимы резиновые перчатки. Он застал меня врасплох, так как я не имею обычая и повседневной необходимости носить с собой означенные предметы. «Да, где же

я их сейчас …?» На дворе стоял поздний вечер. «Да, уж где угодно-с». Я вышел в ночь, в холод и ветер. Уверен, что у него или у хитромудрой медсестры кабинета перчатки были, но не для мне подобных. И уж наверняка оба знали, что рядом в манипуляционном кабинете медсестра подторговывает этими резиновыми изделиями. «Не страшат тебя громы небесные, а земные ты держишь в руках» (Н.А.Некрасов). Бог ему, инородцу, судья. Я проснулся и пошел домой.

Поехали!

Темно-синее от мороза утро. Собачий холод. Выпавший было накануне снег, растаял, а его остатки мутными льдинками приклеились к стенам домов и краям заборов. От оголенной твёрдой земли было ещё холоднее. Я с трудом втиснулся в тёплое нутро желтого «Богдана». С беспощадным стуком гильотины створки дверей отсекли мою руку от внутреннего мира салона, и мороз объял её. Только на следующей остановке, когда железные тиски чуть-чуть разжались, мне удалось корявой рукой извлечь из кармана льготное удостоверение жителя осаждённого города. Тень неприятия и братской ненависти пала на лицо водителя при виде ненавистной маленькой книжечки, но тут, же печаль по утрате гривны резко сменилась радостным криком: «Надо показывать при входе!» Потом ещё радостней и с оттенком злорадства: «Льготные кончились!». Это означало, что два, положенных по статусу места, уже заняли счастливые претенденты. Осознав всю глубину моих необоснованных притязаний, я робко заверил властелина баранки, что оплачу проезд и протянул ему сотенную купюру. Честное слово, у меня не было других денег, ну ни копейки. Какое легкомыслие, какая непредусмотрительность! Как можно вообще позволить себе садится в транспорт, не имея мелких денег? Да ещё утром, когда только первый рейс и касса почти пуста. Зачем расстраивать водителя, ведь надо соображать, что ты у него не один, а впереди целый трудный день? Как теперь он будет соблюдать безопасность на дорогах? Молчаливая, но переполненная упрёками, людская среда автобуса, та у которой всегда и у всех есть мелочь, и водитель, навечно утвердившийся в своём справедливом беспределе, стали психоэнергетически теснить, морально опустившегося несчастного интеллигента, к выходу. К чести «шефа» следует сказать, что решение о моем удалении ещё не созрело в нём в полной мере, и он милостиво предложил мне разменять сотню у пассажиров. Но начинающая раздражаться задержкой движения автобуса, утрамбованная и стиснутая масса серых утренних лиц не пришла мне на помощь. А ведь пелось раньше: «Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь»(Б.Окуджава). Я выпал из автобуса как парашютист из люка самолёта. «Первый, пошел!». Короткий полет, и замороженная земля больно стукнула по пяткам.

На голой, обдутой ледяным ветром, остановке одиноко торчала синяя коробка папиросного ларька. За желтым окном сидела, закутанная в салоп и платок, толстая баба. Стиснутая со

всех сторон, железными стенами, как водитель танка «Т-34», она сурово глядела через амбразуру далеко во мглу ночи. Под передней стенкой ларька снежный намёт образовал крутой ледяной склон. С опаской я ступил на его коварную поверхность. Вот, и … «Аннушка уже пролила масло» (М.Булгаков) – дальнейшая связь событий была предопределена. Что бы поймать взор женщины-танкиста, я рискованно низко наклонился к щели обзора и коммуникации. Центр тяжести тела сместился в положение – «близко к критическому». На мою просьбу разменять денежку, танкист, перекрывая рёв мотора, заорала: «Ты что, крыша поехала?!». Далее последовало, что за ночь ни одного покупателя, что холод собачий, что жизнь, вообще-то, дрянь! Тугой комок злости тупо ткнул мне в грудь и нарушил ненадежное положение туловища – «близко к критическому». Скользкая поверхность легко и резко ушла из-под ног, пальцы рук соскребли иней с брони танка-ларька. В свободном падении, голова, «мордой лица» вошла в соприкосновение с мутной и грязной поверхностью льда. По его крутому склону ушибленное лицо ещё протащило вниз к оголённой земле. Горячая, на морозе, кровь потекла из ссадин и из носа. Я поднялся и приблизил лицо к окну ларька. На очумевшую торговку, которая только что была танкистом, глянуло зверское окровавленное лицо с потеками крови, застывшей вокруг распухших губ и в промежутках между оскаленных зубов. «Вурдалак! Вампир!» Под бабой раскололся стул, и она грузно стекла на дно преисподней.

Подъехал микроавтобус по кличке «Топик». Увидев меня в свете фар, водитель неистово замотал головой и замахал руками: «Пьяных не берем!», и вип-транспорт укатил, подмигнув кранным глазом.

Громыхая листами железа, подполз муниципальный желтый автобус-гармошка, – память от бывшей страны. Пенсионеры ехали на работу, на огороды, к раннему дешевому привозу. Здесь были все свои. Несмотря на тесноту, вокруг меня образовался боязливый круг отчуждения. Послышалось осуждающее: «надо меньше пить», «пожилой человек, с виду интеллигентный и вот так …». Было не выносимо, интеллигент с досадой плюнул и вышел на ближайшей. Таксист ухмыльнулся и заломил цену – пришлось ехать, опаздывать на работу не рекомендовалось.

Да, простит меня Господь, за то, что пишу в обидной форме для тружеников сферы обслуживания. Я отлично понимаю, сколь трудна и безотрадна жизнь многих простых людей. Сам-то тоже не без греха. Тяжкие времена, что пришли и утвердились – это уже не «окаянные дни» 1918 года, как писал И.Бунин, это хуже и возможно надолго, если не навсегда.

В любые времена, существует нехорошая подлая закономерность: как только человек обретает, хоть самое малое, положение, при котором от него возможна зависимость людей, в нём начинают возрастать примитивные формы гордыни, чванства, особистости. Во времена Хама, подобные нынешним, когда «процесс пошел» и становится «ширше» – как говаривал наш президент-комбайнер, хиреет нравственный императив, времена «не навязчивого советского сервиса» вспоминаются как благодать.

Вот пример хамской, но самооправданной логики современного предпринимателя. Утром мимо моей остановки до конечной проезжает топик, водитель которого запомнил меня, как и я его. Он останавливается так, чтоб вероятность моего попадания в автобус была минимальной. Как то мне удалось, яростным рывком, опередить претендентов на свободное место. Вот я у него и спрашиваю: «Пошто, барин, не берешь старичка?» «Дак, этаво-таво» – ответил ямщик: «Вы есть невыгодный пассажир. Место, которое Вы имеете долго занять до конец, при удачном раскладе может обернуться 3–4 раза, соответственно увеличится барыш.

В погоне за сверхприбылью, на микроуровне городских и пригородных автоперевозок, водители набивают автобусы до состояния «консервная банка со шпротами». Оправдание: «Всем надо ехать». Какая забота о ближнем! На пригородных рейсах, в весенне-летний период творится унизительный бесчеловечный беспредел. До слёз жалко смотреть на стариков, едущих на свои убогие огородики, стиснутых здоровенными полуголыми парнями и их голопузыми девками, с овечьими колокольчиком на пупке, приехавшими отдыхать. А звоночек, чтоб Он её не потерял! Нет будущего у страны, где так относятся к старикам.

Кроме влияний Времени, профессиональные шофера завсегда были подвержены корпоративным влияниям. Хапнуть, урвать, левый рейс, слить бензин и многое прочее. Мой отец долгие годы работал начальником авторемонтных мастерских ЧФ. Он любил говорить: «Шофера – это такая каста, что совратят и Иисуса Христа». Ну. А теперь-то, ребятки, ваша взяла. Руби капусту!

Да, вот ещё, – о манере и способах вождения машин нынешними ассами дорог.

Современный «Топиконавт» начинает движение беспощадным рывком. Пассажир ещё не занял место и его несет вдоль прохода салона к задней стенке. «Поехали!». Но этого мало: следует быстрое, с усиленной перегазовкой, переключение скоростей. При этом пассажира по инерции бросает вперед-назад между кресел.

А ещё водитель-музыкант врубает на полную мощь динамики. Ох! «Сыпь гармоника, сыпь мая частая!» Диффузоры над головой,

как при средневековой пытке под колоколом, долбят децибелами темя обреченных и безответных пассажиров. Репертуар изыскано отвратительный. Водителю весело и хорошо. Он глохнет как тетерев на току. Робкие просьбы об остановке не достигают ушей меломана садиста. Тупо он пролетает мимо, обратной дороги нет. Он хозяин Ваших барабанных перепонок, Ваших музыкальных предпочтений, Ваших желаний тишины.

Водитель, шеф, командир, начальник, а что бы ты делал, еслиб вдруг не стало пассажиров? Вот, вдруг, пошли по дорогам Севастополя прекрасные новые удобные троллейбусы – как прежде в былые светлые времена. И всего за рупь, и бесплатно для пенсионеров, и старикам уступают место, и кондуктор (ну, это уж совсем бред), как в Лондонских двухэтажных автобусах, не пустит пассажира при отсутствии мест. «Дас ис фантастиш!»

Ну-с, а пока, чтоб закрылась дверь переполненного автобуса: «Господа пассажиры, выдохнули все вдруг!». Удивительно, ещё есть немного пространства. Натужно поползла дверь и хлопнула в конце. «Чижа захлопнула злодейка западня!»(И.А.Крылов).

Счастливого пути, дорогие! Поехали!

notes

Примечания

нем. *Бог с нами*

2

лат. *Дорога есть жизнь*

лат. *Врач, исцелись сам! (Евангелие от Луки, 4,17).*